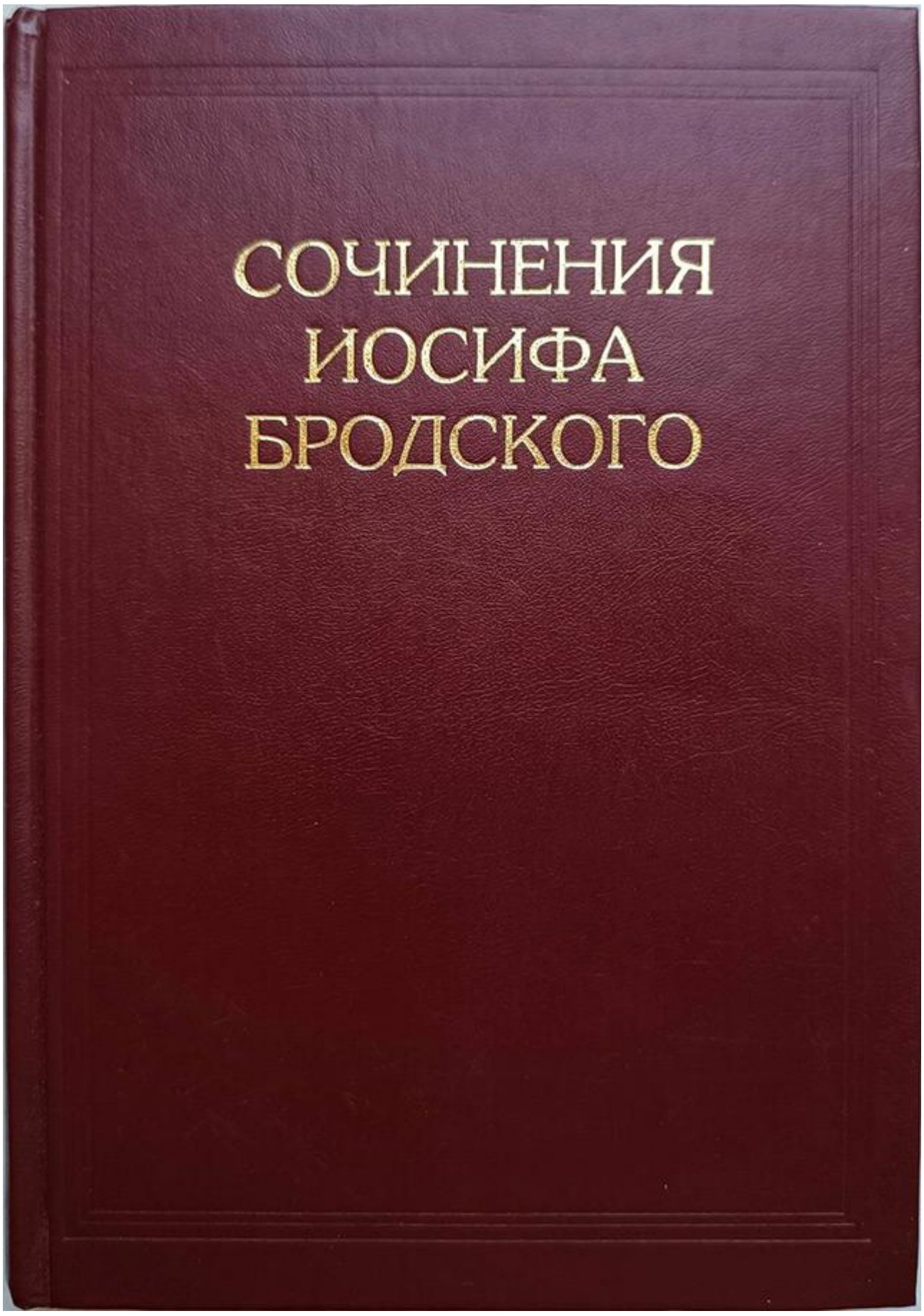

СОЧИНЕНИЯ
ИОСИФА
БРОДСКОГО



ПУШКИНСКИЙ ФОНД

СОЧИНЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО

Том 3

III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ММI

УДК 882Б2 ББК 84.Р7 Б 88
Общая редакция Я. А. Гордин
Составитель Г. Ф. Комаров
Художник С. А. Остров
ISBN 5-89803-068-9 (т. III) © ISBN 5-89803-065-4
© ©
Joseph Brodsky
«Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского», 2001 Г. Ф. Комаров, составление, 2001 С. А. Остров, оформление, 2001

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА

V. S.
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою — нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.

Кто грядет — никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.

январь 1972

ОДНОМУ ТИРАНУ

Он здесь бывал: еще не в галифе —
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.
Арестом завсегдатаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья,
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигранные им.
И Время проглотило эту месть.
Теперь здесь людно, многие смеются,
гремят пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель — все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но инкогнито.
Когда он входит, все они встают.
Одни — по службе, прочие — от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столь вкусный, что и мертвые «о да!»
воскликнули бы, если бы воскресли.

январь 1972

ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ
(Из Марциала)

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.
Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?

Все интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.

4>
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.

Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

март 1972

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой
Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес .
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он — Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, повернувшись к Марии:
«В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

март 1972

1972 ГОД

Виктору Голышеву
Птица уже не влетает в форточку.
Девица, как зверь, защищает кофточку.
Поскользнувшись о вишневую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с паденьем скорости.
Сердце скачет, как белка, в хворосте

ребер. И горло поет о возрасте.
Это — уже старение.
Старение! Здравствуй, мое старение!
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятую,
обувь с кидая, спасаю ватою.
Всякий, кто мимо идет с лопатою,
ныне объект внимания.
Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес
Греции Древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
еще не идет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.
Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло наконец искомое
лакомство в твердом моем затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица — Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.
Боязно! То-то и есть, что боязно.
Даже когда все колеса поезда
прокатятся с грохотом ниже пояса,
не замирает полет фантазии.
Точно рассеянный взор отличника,
не отличая очки от лифчика,
боль близорука, и смерть расплывчата,
как очертанья Азии.
Все, что я мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено.
Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало — пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но
старение есть отрастанье органа
слуха, рассчитанного на молчание.
Старение! В теле все больше смертного.
То есть ненужного жизни. С медного
лба исчезает сиянье местного
света. И черный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
совестно браться за труд Господень.
Впрочем, дело, должно быть, в трусости.
В страхе. В технической акта трудности.

Это — влиянье грядущей трупности:
всякий распад начинается с воли,
минимум коей — основа статики.
Так я учил, сидя в школьном садике.
Ой, отойдите, друзья-касатики!
Дайте выйти во чисто поле!
Я был как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожею.
Брал, что давали. Душа не зарилась
на не свое. Обладал опорою,
строил рычаг. И пространству впору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!
Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.
Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.
Старение! Возраст успеха. Знания
правды. Изнанки ее. Изгнания.
Боли. Ни против нее, ни за нее
я ничего не имею. Коли ж
переборщит — возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест — терпится.
Ежели что-то во мне и теплится,
это не разум, а кровь всего лишь.
Данная песня — не вопль отчаянья.
Это — следствие одичания.
Это — точней — первый крик молчания,
царствие чье представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевающей ныне в мертвую
как бы натуру, гортанью твердою.
Это и к лучшему. Так я думаю.
Вот оно — то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту — чем ее ни высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица

подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.
Точно Тезей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я — знак минуса
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это, и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают, и соль — от пресного.
Хочется плакать. Но плакать нечего.
Бей в барабан о своем доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу!

18 декабря 1972

БАБОЧКА

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
«жила» — единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.
II
Затем, что дни для нас —
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?
III
Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет —

не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
2 0

бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.
IV
На крылышках твоих
зрачки, ресницы —
красавицы ли, птицы —
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.
V
Возможно, ты — пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?
Скажи, с какой натуры
был сделан он?
VI
Я думаю, что ты —
и то и это:
звезды, лица, предмета
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
2 1

что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,
где ты, как мысль о вещи,
мы — вещь сама?
VII

Скажи, зачем узор
такой был даден
тебе всего лишь на день
в краю озер,
чья амальгама впрок
хранит пространство?
А ты — лишает шанса
столь краткий срок
попасть в сачок,
затрепетать в ладони,
в момент погони
пленить зрачок.
VIII
Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.
Жива, мертва ли —
но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.
К
А ты — ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.
Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук — тоже бремя.
Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.
X
Не ощущая, не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому,
когда летишь на луг
желая корму,
приобретает форму
сам воздух вдруг.
XI

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе «Прощай»
как форме суток?
Есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною
у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое — но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все на сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

1972
В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации — в быту
профессор красноречия, — я жил
в колледже возле главного из Пресных
Озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.
Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке
быстрей, чем я загадывал желанье.

1972
Анн Арбор, Мичиган
НАБРОСОК

Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.
Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке — Солдат и Дура.
Старуха чешет мертвый бок.
Се вид Отечества, лубок.
Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей — куча на полу.
Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный, — туча...
Пускай Художник, паразит,
другой пейзаж изобразит.

1972

ОДИССЕЙ ТЕЛЕМАКУ

Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.

Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972
^ ^ о

Осенний вечер в скромном городке,
гордящемся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд,
Пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы; а Время
взирает с неким холодом в кости
.на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что смог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой;
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.
В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна вплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.
Лишь изредка несущийся куда-то
шикарный бьюик фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.

Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

1972

ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ - ОПЫТА

On a cloud I saw a child,
and he laughing said to me...
W. Blake*

1
Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.
Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
Все, что нам приснится, то станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.
Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,
и не будем чаять души друг в друге.
Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

2
Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешены будут тюлем,
а не забраны черной решеткой тюрем.
* Дитя на облачке узрел я,
оно мне молвило, смеясь...
В. Блейк (англ.)
Мы с приятной работы вернемся рано.

Мы глаза на спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
Если кто без денег, то мы заплатим.
Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
и увидим Акрополь и Мону Лизу.
Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
двадцать мест поехать куда получим.

3
Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и встанем в угол.
Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
в телевизоре гибель шпионской сети.
Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть так же плохо,
как вчера, и слово сие писати
в tempi следует нам passati.
Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
ибо так вкуснее; нам так сказали.

Hear the voice of the Bard!
W. Blake*
1
* Слушайте глас Певца!
В. Блейк (англ.)
Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не ладим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
Нам смеяться стыдно и скушно плакать.
Мы дугу не гнем пополам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
или оземь грянувшись, стройным принцем.
Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
Нам не нравится время, но чаще — место.
Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга.
Когда меркнет солнце, мы свет включаем,
завершая вечер грузинским чаем.

2
Мы не видим всходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
Дайте нам обед и компот на третье.
Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей мрази.
Подарите нам тюбик хорошей мази.
Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
ничего не чувствуем, кроме шока.
Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, но глаза ослабли,
чтоб искать отличье орла от цапли.
Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком при жизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже Ада.
Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».
Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовье дочки в ночной сорочке
или сына в майке не встать нам снами.
Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.
То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
Дайте нам припасть напоследок к фляге.
Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

ПОХОРОНЫ БОБО

1
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства — только изувечим.
Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на «Что стряслось?» пустую изнутри
открой жестянку: «Видимо, вот это».
Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.

2
Бобо мертва, и в этой строчке грусть.
Квадраты окон, арок полукружья.
Такой мороз, что коль убьют, то пусть
из огнестрельного оружья.
Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.
Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси.
Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.
Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.
Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести «не надо».
Наверно, после смерти — пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.

4
Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем — точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.
Бобо мертва. На круглые глаза
вид горизонта действует как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.
Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

1972

ТОРС

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
или замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.
Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, —

все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
Это — конец вещей, это — в конце пути
зеркало, чтоб войти.
Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
углом, и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.
Кто-то отколет руку, и голова с плеча
скатится вниз, стуча.
И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.

1972
НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК

Во время ужина он встал из-за стола
и вышел из дому. Луна светила
по-зимнему, и тени от куста,
превозмогая завитки ограды,
так явственно чернели на снегу,
как будто здесь они пустили корни.
Сердцебиенье, ни души вокруг.
Так велико желание всего
живущего преодолеть границы,
распространиться ввысь и в ширину,
что, стоит только выглянуть светилу,
какому ни на есть, и в тот же миг
окрестности становятся добычей
не нас самих, но устремлений наших.

1972(?)
ОТКРЫТКА С ТОСТОМ
я. и.
Желание горькое — впрямь!
свернуть в вологодскую область,
где ты по колхозным дворам
шатаешься с правом на обыск.
Все чаще ночами, с утра
во мгле, под звездой над дорогой.
Вокруг старики, детвора,
глядящие с русской тревогой.
За хлебом юриста — земель
за тридевять пустишься: власти
и — в общем-то — честности хмель
сильней и устойчивей страсти.
То судишь, то просто живешь,
но ордер торчит из кармана.

Ведь самый длиннейший правеж
короче любви и романа.
Из хлева в амбар, — за порог.
Все избы, как дырки пустые
под кружевом сельских дорог.
Шофер посвящен в понятые.
У замкнутой правды в плену,
не сводишь с бескрайности глаза,
лаская родную страну
покрышками нового ГАЗа.
Должно быть, при взгляде вперед,
заметно над Тверью, над Волгой:
другой вырастает народ
на службе у бедности долгой.
Скорей равнодушный к себе,
чем быстрый и ловкий в работе,
питающий в частной судьбе
безжалостность к общей свободе.
...За изгородь в поле, за дом,
за новую русскую ясность,
бредущую в поле пустом,
за долгую к ней непричастность.
Мы — памятник ей, имена
ее предыстории — значит:
за эру, в которой она
как памятник нам замаячит.
Так вот: хоть я все позабыл,
как водится: бедра и плечи,
хоть страсть (но не меньше, чем пыл)
длинней защитительной речи,
однако ж из памяти вон, —
хоть адреса здесь не поставлю,
но все же дойдет мой поклон,
куда я его ни направлю.
За русскую точность, по дну
пришедшую Леты, должно быть.
Вернее, за птицу одну,
что нынче вонзает в нас коготь.
За то что... остатки гнезда...
при всей ее ясности строгой...
горят для нее как звезда...
Да, да, как звезда над дорогой.
* После публикации в первом издании «Сочинений»
И. Бродский предположил, что эти стихи относятся
к более раннему периоду.

1972(?) *
«? ? ?

С красавицей налаживая связь,
вдоль стен тюрьмы, где отсидел три года,
лететь в такси, разбрызгивая грязь,

с бутылкой в сетке — вот она, свобода!
Щекочет ноздри невский ветерок.
Судьба родных сознания не гложет.
Ах! только соотечественник может
постичь очарованье этих строк!..

1972(?)

1973

РОТТЕРДАМСКИЙ ДНЕВНИК

I
Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.
Четыре дня они бомбили город,
и города не стало. Города
не люди и не прячутся в подъезде
во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.

II
Июльский полдень. Капает из вафли
на брючину. Хор детских голосов.
Вокруг — громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

III
Как время ни целебно, но культя,
не видя средств отличия от цели,
саднит. И тем сильней — от панацеи.
Ночь. Три десятилетия спустя
мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже —
на уровне, достигнутом уже
взлетевшими здесь некогда на воздух.
июль 1973
Роттердам

ЛАГУНА

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,

клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.

III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.

IV

Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовье встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.
Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.

VI
Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне — ее одну.

VII
Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,
в плеске зеркал захлебнуться рад.

VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.

IX
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на

молот в серпе, — и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

X
Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
ни был вкус поцелуев эбрё и гоек,
и города, где стопа следа

XI
не оставляет — как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю —
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай» широких,
в улицах узких, как звук «люблю».

XII
Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

XIII
Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то «никуда», задержаться в коем
мысли можно, зрачку — нельзя.
Там, за нигде, за его пределом
— черным, бесцветным, возможно, белым —
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;

даже тогда, когда света нет.

1973

ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

Взбаламутивший море
ветер рвется, как ругань с расквашенных губ,
в глубь холодной державы,
заурядное до-ре-
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.
Не-царевны-не-жабы
припадают к земле,
и сверкает звезды оловянная гривна.
И подобье лица
растекается в черном стекле,
как пощечина ливня.

II
Здравствуй, Томас. То — мой
призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями, гребя
против северных туч, поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.

III
Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый
и старуха в платке загоняют корову в сарай.
Запоздалый еврей
по брусчатке местечка гремит балаголой,
вожжи рвет
и кричит залихватски: «Герай!»

Извини за вторженье.
Сочти появление за
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:
чуть картавей,
чуть выше октавой от странствий вдали.
Потому — не крестись,
не ломай в кулаке картуза:
сгину прежде, чем грянет с насеста
петушиное «пли».
Извини, что без спросу.
Не пяться от страха в чулан:

то, кордонов за счет, расширяет свой радиус
бренность.
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,
над балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан —
точно Дариус и Гиренас,
но не так уязвим.

Поздний вечер в Империи,
в нищей провинции.
Вброд
перешедшее Неман еловое войско,
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.
Багровеет известка
трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как
пойманный лещ.
Вверх взвивается занавес в местном театре.
И выносят на улицу главную вещь,
разделенную на три
без остатка;
сквозняк теребит бахрому
занавески из тюля. Звезда в захолустье
светит ярче: как карта, упавшая в масть.
И впадает во тьму,
по стеклу барабаня, руки твоей устье.
Больше некуда впасть.
В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца;
так что даже «отчизна» на ощупь — как Леди Годива.
В паутине углов
микрофоны спецслужбы в квартире певца
пишут скрежет матраца и всплески мотива
общей песни без слов.
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,
возмущает фонарь. Отменив рупора,
миру здесь о себе возвещают, на муравья
наступив ненароком, невнятной морзянкой
пульса, скрипом пера.

VII
Вот откуда твои
щек мучнистость, безадресность глаза,
шепелявость и волосы цвета спитой,
тусклой чайной струи.
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза
на пути к запятой.
Вот откуда моей,
как ее продолжение вверх, оболочки
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы
ивняка и т. п., очертанья морей,
их страниц перевернутость в поисках точки,

горизонта, судьбы.

VIII
Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим
домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели
со средством,
как велел Макроус!
Наши оттиски! в смятых сырых простынях —

этих рыхлых извилинах общего мозга! —
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.
Либо — просто синяк
на скуле мирозданья от взгляда подростка,
от попытки на глаз
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол.

IX
Мы похожи;
мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.
Друг для друга мы суть
обоюдное дно
амальгамовой лужи,
неспособной блеснуть.
Покривись — я отвечу ухмылкой кривой,
отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость,
разольюсь в три ручья
от стоваттной слезы над твоей головой.
Мы — взаимный конвой,
проступающий в Касторе Поллукс,
в просторечье — ничья,
пат, подвижная тень,
приводимая в действие жаркой лучиной,
эхо возгласа, сдача с рубля.
Чем сильней жизнь испорчена, тем
мы в ней неразличимей
ока праздного для.

X
Чем питается призрак? Отбросами сна,
отрубями границ, шелухою цифири:
явь всегда норовит сохранить адреса.
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,

желтизну подворотни, как сыр простофили,
пожирает лиса
темноты. Место, времени мстя
за свое постоянство жильцом, постояльцем,
жизнью в нем, отпирает засов, —
и, эпоху спустя,
я тебя застаю в замусоленной пальцем
сверхдержаве лесов
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты
и особенно позу: в сырой конопляной
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди
Мать-Литва засыпает над плесом,
и ты
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,
пол-литровой груди.

XI
Существуют места,
где ничто не меняется. Это —
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.
Там с лица сторожа
моложавей. Минувшее смотрит вперед
настороженным глазом подростка в шинели,
и судьба нарушителем пятится прочь
в настоящую старость с плевком на стене,
с ломотой, с бесконечностью в форме панели
либо лестницы. Ночь
и взаправду граница, где, как татарва,
территориям прожитой жизни набегом
угрожает действительность и, наоборот,
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,
где что веко ни спрячет,
то явь печенегом
как трофей подберет.

XII
Полночь. Сойка кричит
человеческим голосом и обвиняет природу
в преступленьях термометра против нуля.
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама завершается молом, погнавшимся за,
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.
Усилья бобра
по постройке запруды венчает слеза,
расставаясь с проворным
ручейком серебра.

XIII
Полночь в лиственном крае,
в губернии цвета пальто.
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза
на рядно сопредельной державе.
Внизу
пашни, скирды, плато
черепицы, кирпич, колоннада, железо,
плюс обутый в кирзу
человек государства.
Ночной кислород
наводняют помехи, молитва, сообщенья
о погоде, известия,
храбрый Кощей
с округленными цифрами, гимны, фокстрот,
болеро, запрещенья
безымянных вещей.

XIV
Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор,
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в «Тюльпе», садится к столу.
Кельнер, глядя в упор,
видит только салфетки, огни бакалеи,
снег, такси на углу;
просто улицу. Бьюсь об заклад,
ты готов позавидовать. Ибо незримость
входит в моду с годами — как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.

XV
Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне,
суть пространство в квадрате, а не
энергичная проповедь лучших времен.
Не завидуй. Причисли
привиденье к родне,
свойствам воздуха — так же, как мелкий петит,
рассыпаемый в сумраке речью картавой
вроде цокота мух,
неспособный, поди, утолить аппетит
новой Клио, одетой заставой,
но ласкающий слух

обнаженной Урании.
Только она,
Муза точки в пространстве и Муза утраты
очертаний, как скаред — гроши,
в состоянье сполна
оценить постоянство: как форму расплаты
за движенье — души.

XVI
Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
объясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым «пора!»
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать — от тебя!
от страницы, от букв,
от — сказать ли! — любви
звука к смыслу, бесплотности — к массе
и свободы — прости
и лица не криви —
к рабству, данному в мясе,
во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей
мимо дремлющих в нише
местных ангелов:
выше
их и нетопырей.

XVII
Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых
лишь
в телескоп! Вычитанья
без остатка! Нуля!
Ты, кто горлу велишь
избегать причитанья,
превышения «ля»
и советуешь сдержанность! Муза, прими
эту арию следствия, петую в ухо причине,
то есть песнь двойнику,
и взгляни на нее и ее до-ре-ми
там, в разреженном чине,
у себя наверху
с точки зрения воздуха.
Воздух и есть эпилог
для сетчатки — поскольку он необитаем.
Он суть наше «домой»,
восвояси вернувшийся слог.
Сколько жаброй его ни хватаем,
он успешно латаем
светом взапуски с тьмой.

XVIII

У всего есть предел:
горизонт — у зрачка, у отчаянья —
для роста —

память,

расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас.
Сиротство
звука, Томас, есть речь!
Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,
видишь воздух:
анфас
сонмы тех, кто губою
наследил в нем
до нас.

XIX
В царстве воздуха! В равенстве слога глотку
кислорода! В прозрачных и в сбившихся в облак
наших выдохах! В том
мире, где, точно сны к потолку,
к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой
облик,
продиктованный ртом!
Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал,
упреждая гортани великую сушь!
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.

XX
Оттого-то он чист.
Нет на свете вещей, безупречней
(кроме смерти самой)
отбеляющих лист.
Чем белее, тем бесчеловечней.
Муза, можно домой?
Восвояси! В тот край,
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи
уст. В грамматику без
препинания. В рай
алфавита, трахеи.
В твой безликий ликбез.

XXI
Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый
звук плывет над селеньями в сторону Куршской
косы.
То Святой Казимир
с Чудотворным Николой
коротают часы
в ожидании зимней зари.
За пределами веры,
из своей стратосферы,
Муза, с ними призри
на певца тех равнин, в рукотворную тьму
погруженных по кровлю,
на певца усмиренных пейзажей.
Обнеси своей стражей
дом и сердце ему.
* В период составления второго тома «Сочинений» (первое издание) И. Бродский датировал это стихотворение 1973 годом. Здесь оно приводится в редакции, опубликованной автором в 1984 году.

1973*
НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам, потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон

с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

1973

1974

ВОЙНА В УБЕЖИЩЕ КИПРИДЫ

Смерть поступает в виде пули из
магнолиевых зарослей, попарно.
Взрыв выглядит как временная пальма,
которую раскачивает бриз.
Пустая вилла. Треснувший фронтон
со сценами античной рукопашной.
Пылает в море новый Фаэтон,
с гораздо меньшим грохотом упавший.
И в позах для рекламного плаката
на гальке, раскаленной добела,
маячат неподвижные тела,
оставшись загорать после заката.

21 июля 1974

«БАРБИЗОН ТЕРРАС»

V. S.
Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне.
Постояльцы храпят, не снимая на ночь
черных очков, чтоб не видеть снов.
Портье с плечами тяжелоатлета
листает книгу жильцов, любуясь
внутренностями Троянского подержанного коня.
Шелест кизилового куста
оглушает сидящего на веранде
человека в коричневом. Кровь в висках
стучит, как не принятое никем
и вернувшееся восвояси морзе.
Небо похоже на столпотворение генералов.
Если когда-нибудь позабудешь
сумму углов треугольника или площадь
в заколдованном круге, вернись сюда:
амальгама зеркала в ванной прячет
сильно сдобренный милой кириллицей волапюк
и совершенно секретную мысль о смерти.

1974

ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ

I

Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана

и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и в пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как «все былое ожило
в отжившем сердце», в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

II

В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

Ill

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычет, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг —
французских королев во время оно —
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит как помесь Пантеона
со знаменитой «Завтрак на траве».

IV

Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэлла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически «о, Боже»,
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.

Во избежанье роковой черты,
я пересек другую — горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

V
Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своем столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.

VI
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — — — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Парменидy — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

VII
Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового — концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши «как живешь?».
В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы — праздник носоглотки.
6s

И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.

VIII
На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном
и я бы отвечал тебе «Alas».
Шотландия нам стала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.

IX
Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. «Ты кто такой?» — «А сам ты?»
«Я кто такой?» — «Да, ты». — «Мы протестанты».
«А мы католики». — «Ах вот как!» Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом — зима, узорчатые санки,
примерка шали: «Где это — Дамаск?»
«Там, где самец-павлин прекрасней самки».
«Но даже там он не проходит в дамки»
(за шашками — передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.
Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.
Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
всё в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченом жакете.

XI

Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают — оба.
Никто не прокричал тебе «Атас!».
И ты не знала «я одна, а вас...»,
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить «много».

XII
Что делает Историю? — Тела.
Искусство? — Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:

ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?
Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои стати не постичь.
Историю отдай Елизавете.

XIII
Баран трясет кудряшками (они же
— руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
«Ей отрубили голову. Увы».
«Представьте, как рассердятся в Париже».
«Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже...»
«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».
«Ну, это, как хотите, не основа...»
«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»
«Что ж, платья, может, не было иного».
«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже».

XIV
Любовь сильней разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит

и прочего. Плюс запаха и звука.
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?),
но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна — юбку, он не извинит.
Не от того, что столько утекло
воды и крови (если б голубая!),
но от тоски расстегиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.

XV
Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что — за печатями семью —
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

XVI
Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, с на ночь глядя залитым пожаром,
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к Стожарам,
смотрящим на озимые бугры.
Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень перегноя. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на голос «Унылую пору».
То, что исторгло изумленный крик
из аглицкого рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было — не могу тираду
закончить — — — в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей

(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.

XVIII
Для рта, проговорившего «прощай»
тебе, а не кому-нибудь, не всё ли
одно, какое хлебово без соли
разжевывать впоследствии. Ты, чай,
привычная к не-доремифасоли.
А если что не так — не осерчай:
язык, что крыса, копошится в соре,
выискивает что-то невзначай.
Прости меня, прелестный истукан.
Да, у разлуки все-таки не дура
губа (хоть часто кажется — дыра):
меж нами — вечность, также — океан.
Причем, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.

XIX
Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
(все выглядит как новое из чистки).
Жизнybег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.

В озерах — и по-прежнему им несть
числа — явились монстры (василиски).
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.
Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.

XX
Пером простым — неправда, что мятежным! —
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
был ли он учеником прилежным,
новую для русского среду,
слабость к окончаниям падежным.
В Непале есть столица Катманду.
Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.
Ведя ту жизнь, которую веду,

я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

1974

НАД ВОСТОЧНОЙ РЕКОЙ

Боясь расплескать, проношу головную боль
в сером свете зимнего полдня вдоль
оловянной реки, уносящей грязь к океану,
разделившему нас с тем размахом, который глаз
убеждает в мелочных свойствах масс.
Как заметил гном великану.
В на попа поставленном царстве, где мощь крупиц
выражается дробью подметок и взглядом ниц,
испытующим прочность гравия в Новом Свете,
все, что помнит твердое тело pro
vita sua — чужого бедра тепло
да сухой букет на буфете.
Автостадо гремит; и глотает свой кислород,
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.
Голова болит, голова болит.
Ветер волосы шевелит
на больной голове моей в буром парке.

1974

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,

но возвращались в страхе в свою.
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.
1974
Лондон

Песчаные холмы, поросшие сосной.
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.
Здесь море треплет на ветру оборки
свои бесцветные, да из соседских дач
порой послышится то детский плач,
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.

Полынь на отмели и тростника гнилье.
К штакетнику выходит снять белье
мать-одиночка. Слышен скрип уключин:
то пасынок природы, хмурый финн,
плывет извлечь свой невод из глубин,
но невод этот пуст и перекручен.

Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.
То алюминиевый аэроплан,
уместный более средь облаков, чем птица,
стремится к северу, где бьет баклуши швед,
как губка некая, вбирая серый цвет,
и пресным воздухом не тяготится.

Здесь горизонту придают черты
своей доступности безлюдные форты.
Здесь блеклый парус одинокой яхты,
чертя прозрачную вдали лазурь,
вам не покажется питомцем бурь,
но — заболоченного устья Лахты.

И глаз, привыкший к уменьшенью тел
на расстоянии, иной предел
здесь обретает — где вообще о теле
речь не заходит, где утрат не жаль:
затем, что большую предполагает даль
потеря из виду, чем вид потери.

7 4

Когда умру, пускай меня сюда
перенесут. Я никому вреда
не причиню, в песке прибрежном лежа.
Объятий ласковых, тугих клешней
равно бежавшему, не отыскать нежней,

застираннее и безгрешней ложа.

1974
ТЕМЗА В ЧЕЛСИ

I
Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак,
замирает на банках с содой в стекле аптеки.
Ветер находит преграду во всех вещах:
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды;
неколесный транспорт ползет по Темзе,
как по серой дороге, извивающейся без нужды.
Томас Мор взирает на правый берег с тем же
вожделеньем, что прежде, и напрягает мозг.
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост
Принца Альберта; и, говоря по чести,
это лучший способ покинуть Челси.

II
Бесконечная улица, делая резкий крюк,
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,
и деревья стоят, точно в очереди за мелкой
осетриной волн; это все, на что
Темза способна по части рыбы.
Местный дождь затмевает трубу Агриппы.
Человек, способный взглянуть на сто
лет вперед, узрит побуревший портик,
который вывеска «бар» не портит,
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
автобус у галереи Тэйт.

III
Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть
для него не преграда, ни кепки и ни корона.
Лишь у тех, кто зонты производит, есть
в этом климате шансы захвата трона.

Серым днем, когда вашей спины настичь
даже тень не в силах и на исходе деньги,
в городе, где, как ни темней кирпич,
молоко будет вечно белеть на дверной ступеньке,
можно, глядя в газету, столкнуться со
статьей о прохожем, попавшем под колесо;
и только найдя абзац о том, как скорбит родня,
с облегченьем подумать: это не про меня.

IV

Эти слова мне диктовала не
любовь и не Муза, но потерявший скорость

звука пытливый, бесцветный голос;
я отвечал, лежа лицом к стене.
«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква „г" в „ого"».
«Опиши свои чувства». — «Смущался дороговизне».
«Что ты любишь на свете сильней всего?» —
«Реки и улицы — длинные вещи жизни».
«Вспоминаешь о прошлом?» — «Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло».
«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

V

Воздух живет той жизнью, которой нам не дано
уразуметь — живет своей голубою,
ветреной жизнью, начинаясь над головою
и нигде не кончаясь. Взглянув в окно,
видишь трубы и шпили, кровлю, ее свинец;
это — начало большого сырого мира,
где мостовая, которая нас вскормила,
собой представляет его конец
преждевременный... Брезжит рассвет, проезжает почта.
Больше не во что верить, опричь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это — благая весть.

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней
и текущей жизни, слившись, дают цифирь
астрономической масти. И палец, вращая диск
зимней луны, обретает бесцветный писк
«занято»; и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.

1974

1975

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА
А. Б.
I
Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.
Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.
Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.
Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.
Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильней выступает пот.
То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь
одним — звездою.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон — хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.
Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту
и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой
города. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина, и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.
Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.

Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.

III
Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука

подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.
Духота. На ступеньках закрытой бильярдной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо
всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена «Кока-Колы». В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебаршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из
спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся
на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.
Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.

IV
Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с Лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,
перемена, связана с колкой дров,
с превращеньем мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба
дремлет), с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор
в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях — суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про
сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,
летящий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.

V
В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска. Ни треска, ни
сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.
Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертеж
в тучи задранных башен.
Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.
Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и
вплавь,
в полушарье орла сны содержат дурную явь
полушария решки.
Духота. Неподвижность огромных растений, далекий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.
В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

VI
Потому что поздно сказать «прощай»
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как «на чай»
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,
я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить «на кой?»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.
Я пишу из Империи, чьи края
опускаются под воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же почти, что глобус.

То есть, дальше некуда. Дальше — ряд
звезд. И они горят.
Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря «бесконечность», в виду всегда
я имел искусство деленья литра
без остатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.
Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».
Легионы спят, прислонясь к когортам,
форумы — к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.
Голый паркет — как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII
Только затканный сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.
Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящую ничего
водяную колонну.
Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, —
пчелы, осы, стрекозы.
Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII
Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,
уходит, как от пера — строка,
в недра материка.
Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и — сказать ли — горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.
Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:
«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —
сгустки его. И товар похлеще —
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.
Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
То ли „любить", то ли просто „эй".
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос».

IX
Человек размышляет о собственной жизни, как
ночь о лампе.
Мысль выходит в определенный момент за рамки
одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,

безусловно, громоздка,
но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к электрической цапле.
Чу, смотри: Аладдин произносит «сезам» — перед
ним золотая груда,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.
Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык
наготы. Но при этом — не встать вдвоем.
Потому что пока там — светло, в твоем
полушарье темно. Так сказать, одного светила

не хватает для двух заурядных тел.
То есть глобус склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.

X

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай — это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.
Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.
Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть «Земля!».
Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остается следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,

ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.
То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они — слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.
От великих вещей остаются слова языка, свобода
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
на его лице, у него в уме
ничего, кроме ряби.
Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.
Восточный конец Империи погружается в ночь —
по горло.
Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
то есть слышит свой собственный голос. Это
развивает связки, но гасит взгляд.
Ибо в чистом времени нет преград,
порождающих эхо.
Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх — в направленье исконно немых губерний.
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.
Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.
Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
И не спрашивай, если скрипнет дверь,
«Кто там?» — и никогда не верь
отвечающим, кто там.

XII
Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога.

Не отпустишь прохожего без куска.
И дорогу покажешь ему. Дорога
извивается. Рыба уходит прочь.
Но другая, точь-в-точь
как ушедшая, пробует дверь носком.
(Меж собой две рыбы что два стакана.)
И всю ночь идут они косяком.
Но живущий около океана

знает, как спать, приглушив в ушах
мерный тресковый шаг.
Спи. Земля не кругла. Она
просто длинна: бугорки, лощины.
А длинней земли — океан: волна
набегает порой, как на лоб морщины,
на песок. А земли и волны длинней
лишь вереница дней.
И ночей. А дальше — туман густой:
рай, где есть ангелы, ад, где черти.
Но длинней стократ вереницы той
мысли о жизни и мысль о смерти.
Этой последней длинней в сто раз
мысль о Ничто; но глаз
вряд ли проникнет туда, и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так — во сне — и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи — смотря кто спит.
И дверью треска скрипит.

1975

МЕКСИКАНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Октавио Пасу

Гуернавака

В саду, где М., французский протеже,
имел красавицу густой индейской крови,
сидит певец, прибывший издаля.
Сад густ, как тесно набранное «Ж».
Летает дрозд, как сросшиеся брови.
Вечерний воздух звонче хрусталя.
Хрусталь, заметим походя, разбит.
М. был здесь императором три года.
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.
Такие вещи скрашивают быт.
Затем республиканская пехота
М. расстреляла. Грустное курлы
доносится из плотной синевы.
Селяне околачивают груши.
Три белых утки плавают в пруду.
Слух различает в ропоте листвы
жаргон, которым пользуются души,
общаясь в переполненном Аду.

Отбросим пальмы. Выделив платан,
представим М., когда, перо отбросив,
он скидывает шелковый шлафрок
и думает, что делает братан
(и тоже император) Франц Иосиф,
насвистывая с грустью «Мой сурок».
«С приветом к вам из Мексики. Жена

сошла с ума в Париже. За стеною
дворца стрельба, пылают петухи.
Столица, милый брат, окружена
повстанцами. И мой сурок со мною.
И гочкис популярнее сохи.
И то сказать, третичный известняк
известен как отчаянная почва.
Плюс экваториальная жара.
Здесь пуля есть естественный сквозняк.
Так чувствуют и легкие, и почка.
Потею, и слезает кожура.
Опричь того, мне хочется домой.
Скучаю по отеческим трущобам.
Пошлите альманахов и поэм.
Меня убьют здесь, видимо. И мой
сурок со мною, стало быть. Еще вам
моя мулатка кланяется. М.».

Конец июля прячется в дожди,
как собеседник в собственные мысли.
Что, впрочем, вас не трогает в стране,
где меньше впереди, чем позади.
Бренчит гитара. Улицы раскисли.
Прохожий тонет в желтой пелене.
Включая пруд, все сильно заросло.
Кишат ужи и ящерицы. В кронах
клубятся птицы с яйцами и без.
Что губит все династии — число
наследников при недостатке в тронах.
И наступают выборы и лес.
М. не узнал бы местности. Из ниш
исчезли бюсты, портики пожухли,
стена осела деснами в овраг.
Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.
Сады и парки переходят в джунгли.
И с губ срывается невольно: рак.
В ночном саду под гроздью зреющего манго
Максимильян танцует то, что станет танго.
Тень возвращается подобьем бумеранга,
температура, как под мышкой, тридцать шесть.
Мелькает белая жилетная подкладка.
Мулатка тает от любви, как шоколадка,
в мужском объятии посапывая сладко.
Где надо — гладко, где надо — шерсть.
В ночной тиши под сенью девственного леса
Хуарец, действуя как двигатель прогресса,
забывшим начисто, как выглядят два песо,
пеонам новые винтовки выдает.
Затворы клацают; в расчерченной на клетки
Хуарец ведомости делает отметки.
И попугай весьма тропической расцветки
сидит на ветке и так поет:

«Презренье к ближнему у нюхающих розы
пускай не лучше, но честней гражданской позы.
И то и это порождает кровь и слезы.
Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,
распространяется, как мухами — зараза,
иль как в кафе удачно брошенная фраза,
и где у черепа в кустах всегда три глаза,
и в каждом — пышный пучок травы».

Мерида
Коричневый город. Веер
пальмы и черепица
старых построек.
С кафе начиная, вечер
входит в него. Садится
за пустующий столик.

В позлащенном лучами
ультрамарине неба
колокол, точно
кто-то бренчит ключами:
звук, исполненный неги
для бездомного. Точка
загорается рядом
с колокольней собора.
Видимо, Веспер.
Проводив его взглядом,
полным пусть не укора,
но сомнения, вечер
допивает свой кофе,
красящий его скулы.
Платит за эту
чашку. Шляпу на брови
надвинув, встает со стула,
складывает газету
и выходит. Пустая
улица провожает
длинную в черной
паре фигуру. Стая
теней его окружает
под навесом — никчемный
сброд: дурные манеры,
пятна, драные петли.
Он бросает устало:
«Господа офицеры.
Выступайте немедля.
Время настало.
А теперь — врассыпную.
Вы, полковник, что значит
этот луковый запах?»
Он отвязывает вороную
лошадь. И скачет

дальше на Запад.
В отеле «Континенталь»

Победа Мондриана. За стеклом —
пир кубатуры. Воздух или выпит
под девяносто градусов углом,
иль щедро залит в параллелепипед.
В проем оконный вписано, бедро
красавицы — последнее оружье:
раскрыв халат, напоминает про
пускай не круг хотя, но полукружье,
но сектор циферблата.
Говоря
насчет ацтеков, слава краснокожим
за честность вычесть из календаря
дни месяца, в которые «не можем»
в Платоновой пещере, где на брата
приходится кусок пи-эр-квадрата.

Мексиканский романсеро

Кактус, пальма, агава.
Солнце встает с Востока,
улыбаясь лукаво,
а приглядись — жестоко.
Испепеленные скалы,
почва в мертвой коросте.
Череп в его оскале!
И в лучах его — кости!
С голой шеей, уродлив,
на телеграфном насесте
стервятник — как иероглиф
падали в буром тексте
автострады. Направо
пойдешь — там стоит агава.
Она же — налево. Прямо —
груда ржавого хлама.
Вечерний Мехико-Сити.
Лень и слепая сила
в нем смешаны, как в сосуде.
И жизнь течет, как текила.
Улицы, лица, фары.
Каждый второй — усатый.
На Авениде Реформы
масса бронзовых статуй.
Подле каждой, на кромке
тротуара, с рукою
протянутой — по мексиканке
с грудным младенцем. Такою
фигурой — присохшим плачем —
и увенчать бы на деле
Памятник Мексике! Впрочем,

и под ним бы сидели.

Сад громоздит листву и
не выдает вас зною.
(Я знал, что я существую,
пока ты была со мною.)
Площадь. Фонтан с рябою
нимфою. Скаты кровель.
(Покуда я был с тобою,
я видел все вещи в профиль.)
Райские кущи с адом
голосов за спиною.
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)
Ночь с багровой луною,
как сургуч на конверте.
(Пока ты была со мною,
я не боялся смерти.)

Вечерний Мехико-Сити.
Большая любовь к вокалу.
Бродячий оркестр в беседке
горланит «Гвадалахару».
Веселый Мехико-Сити.
Точно картина в раме,
но неизвестной кисти,
он окружен горами.
Вечерний Мехико-Сити.
Пляска горячих литер
Кока-Колы. В зените
реет Ангел-Хранитель.
Здесь это связано с риском
быть подстреленным с ходу,
сделаться обелиском
и представлять Свободу.

Что-то внутри, похоже,
сорвалось, раскололось.
Произнося «о Боже»,
слышу собственный голос.
Так страницу мараешь
ради мелкого чуда.
Так при этом взираешь
на себя ниоткуда.
Это, Отче, издержки
жанра (правильней — жара).
Сдача медная с решки
безвозмездного дара.
Как несхоже с мольбою!
Так, забыв рыболова,
рыба рваной губою
тщетно дергает слово.

Веселый Мехико-Сити.
Жизнь течет, как текила.
Вы в харчевне сидите.
Официантка забыла
о вас и вашем омлете,
заболтавшись с брюнетом.
Впрочем, как все на свете.
По крайней мере, на этом.
Ибо, смерти помимо,
все, что имеет дело
с пространством, — все заменимо.
И особенно тело.
И этот вам уготован
жребий, как мясо с кровью.
В нищей стране никто вам
вслед не смотрит с любовью.

Стелющаяся полого
грунтовая дорога,
как пыльная форма бреда,
вас приводит в Ларедо.
С налитым кровью глазом
вы осядете наземь,
подломивши колени,
точно бык на арене.
Жизнь бессмысленна. Или
слишком длинна. Что в силе
речь о нехватке смысла
оставляет — как числа
в календаре настенном.
Что удобно растеньям,
камню, светилам. Многим
предметам. Но не двуногим.

К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли космические
пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным алфавитом
языка, не знавшего слова «или».
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах

над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем
мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых и сильных
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза скормить суждено воронам,
лучше если убийца — убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

Заметка для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.
На Западе и на Востоке — пляжи
двух океанов. Посредине — горы,
леса, известняковые равнины
и хижины крестьян. На Юге — джунгли
с руинами великих пирамид.
На Севере — плантации, ковбои,
переходящие невольно в США.
Что позволяет перейти к торговле.
Предметы вывоза — марихуана,
цветной металл, посредственное кофе,
сигары под названием «Корона»
и мелочи народных мастеров.
(Прибавлю: облака.) Предметы ввоза —
все прочее и, как всегда, ружье.
Обзаведясь которым, как-то легче
заняться государственным устройством.
История страны грустна; однако,
нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным
злом признано вторжение испанцев
и варварское разрушенье древней
цивилизации ацтеков. Это
суть местный комплекс Золотой Орды.
С той разницею, впрочем, что испанцы
действительно разжились золотишком.
Сегодня тут Республика. Трехцветный
флаг развевается над президентским
палаццо. Конституция прекрасна.
Текст со следами сильной чехарды

диктаторов лежит в Национальной
Библиотеке под зеленым, пуле-
непробиваемым стеклом — причем,
таким же, как в роллс-ройсе президента.
Что позволяет сквозь него взглянуть
в грядущее. В грядущем населенье,

1 о 1
бесспорно, увеличится. Пеон
как прежде будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.
И ящерица на валуне, задрав
головку в небо, будет наблюдать
полет космического аппарата.

1975

ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.
На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся, точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки
Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры — словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан
он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
— когти в кулак, точно пальцы рук —
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,
к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.
Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,

1 o j
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет
еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.
Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из
труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на
крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом. Он опять
низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.
И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не
предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло
обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая «вон,
там!», видим вверху слезу
ястреба плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,
разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,
опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,
чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —
бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: «Зима, зима!».

1975

ШОРОХ АКАЦИИ

Веронике Шильц

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».
Приобретая газету, ее начинаешь с той

колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,

Ю7
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овала над раковиной, в которой бурлит моча,
на тебя таращится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

1974-1975

ДЕКАБРЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ
Этот, уходя, не оглянулся...
Анна Ахматова

I
Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но
ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно,
населенье гуляет над обмелевшим Арно,
напоминая новых четвероногих. Двери
хлопают, на мостовую выходят звери.
Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот.

II
Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые
сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и
твой подъезд в двух минутах от Синьории
намекает глухо, спустя века, на
причину изгнанья: вблизи вулкана
невозможно жить, не показывая кулака; но
и нельзя разжать его, умирая,

потому что смерть — это всегда вторая
Флоренция с архитектурой Рая.

III
В полдень кошки заглядывают под скамейки,
проверяя, черны ли
тени. На Старом Мосту — теперь его починили, —
где бюстует на фоне синих холмов Челлини,
бойко торгуют всяческой бранзулеткой;
волны перебирают ветку, журча, за веткой.
И золотые пряди склоняющейся за редкой
вещью красавицы, роющейся меж коробок
под несытыми взглядами молодых торговок,
кажутся следом ангела в державе черноголовых.
ill
Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца,
петли, клинышки букв и, потому что скользко,
в запятые и точки. Только подумать, сколько
раз, обнаружив «м» в заурядном слове,
перо спотыкалось и выводило брови!
То есть чернила честнее крови,
и лицо в потемках, словами наружу — благо
так куда быстрей просыхает влага —
смеется, как скомканная бумага.

V
Набережные напоминают оцепеневший поезд.
Дома стоят на земле, видимы лишь по пояс.
Тело в плаще, ныряя в сырую полость
рта подворотни, по ломаным, обветшалым
плоским зубам поднимается мелким шагом
к воспаленному нёбу с его шершавым
неизменным «16». Пугающий безголосьем,
звонок порождает в итоге скрипучее «просим, просим»:
в прихожей вас обступают две старые цифры «8».

VI
В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки
привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке;
ощущая нехватку в терцинах, в клетке
дряхлый щегол выводит свои коленца.
Солнечный луч, разбившийся о дворец, о
купол собора, в котором лежит Лоренцо,
проникает сквозь штору и согревает вены
грязного мрамора, кадку с цветком вербены;
и щегол разливается в центре проволочной Равенны.

VII
Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери
хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли

проживаешь жизни, смотря по вере,

вечером в первой осознаешь: неправда,
что любовь движет звезды (Луну — подавно),
ибо она делит все вещи на два —
даже деньги во сне. Даже, в часы досуга,
мысли о смерти. Если бы звезды Юга
двигались ею, то — в стороны друг от друга.

VIII
Каменное гнездо оглашаемо громким визгом
тормозов; мостовую пересекаешь с риском
быть заклеванным насмерть. В декабрьском низком
небе громада яйца, снесенного Брунеллески,
вызывает слезу в зрачке, наторевшем в блеске
куполов. Полицейский на перекрестке
машет руками, как буква «ж», ни вниз, ни
вверх; репродукторы лают о дороговизне.
О, неизбежность «ы» в правописанье «жизни»!

IX
Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.

1976
? ^ ^

Михаилу Барышникову
Классический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой
отделены. И задраны мосты.
В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которою не ляжешь,
одним прыжком выпархивает в сад.
Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангела добра в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
овация Чайковского и К°.
Классический балет! Искусство лучших дней!
Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,
и ежели был враг, то он был — маршал Ней.
В зрачках городовых желтели купола.
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.
И если что-нибудь взлетало в воздух,

то был не мост, то Павлова была.
Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси
рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться,
земля везде тверда; рекомендую США.

НОВЫЙ ЖЮЛЬ БЕРН

Л. и Н. Лифшиц

I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
с криком выскакивает из кабины натуралиста.
Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,
только бутылки в баре хорошо переносят качку.
Ветер относит в сторону окончание анекдота,
и капитан бросается с кулаками на мачту.
Порой из кают-компании раздаются аккорды последней
вещицы Брамса.
Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою
линией курса. И в подзорной трубе пространство
впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою.

II

Пассажир отличается от матроса
шорохом шелкового белья,
условиями питания и жилья,
повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса.
Матрос отличается от лейтенанта
отсутствием эполет,
количеством лет,
нервами, перекрученными на манер каната.
Лейтенант отличается от капитана
нашивками, выраженьем глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением «Критики чистого разума», Мопассана и
«Капитала».
Капитан отличается от Адмиралтейства
одинокими мыслями о себе,
1 О
отвращением к синеве,
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном в
именье тестя.
И только корабль не отличается от корабля.
Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,

из-под ног у которых ушла земля.

III
Разговор в кают-компании
«Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует разобраться
— нельзя не признать за ним некоторых заслуг...»
«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!» «Нет, спасательный круг!»
«Восхитительный херес!» «Я всю ночь не могла уснуть.
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи»,
«...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.
Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!
Вам случалось тонуть, лейтенант?» «Никогда. Но акула
меня кусала».
«Да? любопытно... Но представьте, что — течь... И
представьте себе...»
«Что ж, может, это заставит подняться на палубу
даму в 12-6».
«Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в
Кюрасао».

IV
Разговоры на палубе
«Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу».
«И что же вам помешало?» «Наука мне не под силу.
И потом — тити-мити». «Простите?» «Э-э... презренный
металл».
«Человек, он есть кто?! Он — вообще — комар!»
«А скажите, месье, в России у вас, что — тоже есть
резина?»
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я...» «Простите меня, кузина».
«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?»
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там».
«Ах, это...
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?» «Не-а, одна
газета...
Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увели...»

V

Море гораздо разнообразней суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.
На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя.
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».
А если хватает воображенья — «Федя».
Ничего подобного не происходит в море.
Кита в его первозданном, диком

виде не трогает имя Бори.
Лучше звать его Диком.
Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
Многим из них не отыскать причины;
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
ни на злую волю женщины или мужчины.
Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали «закона
джунглей
либо — внесли бы в оный свои поправки.

«Капитан, в этих местах затонул „Черный Принц"
при невыясненных обстоятельствах». «Штурман Бенц!
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь».
«В этих местах затонул также русский „Витязь"».
«Штурман Бенц! Вы думаете, что я
шучу?» «При невыясненных обстоя...»
Неукоснительно двигается корвет.
За кормою — Европа, Азия, Африка, Старый и
Новый Свет.
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.
И пространство хранит ответ.

VII
«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда, Ирина».
«Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это там?»
«Да где?»
«В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина».
«Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде
все извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?!
Я раздета!»
«Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай!
Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..»

VIII
Море внешне безжизненно, но оно
полно чудовищной жизни, которую не дано
постичь, пока не пойдешь на дно.
Что порой подтверждается сетью, тралом.
Либо — пляской волн, отражающих как бы в вялом
зеркале творящееся под одеялом.
Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.
Под водою, однако, он умеряет прыть.
Внезапно он хочет пить.
Там, под водой, с пересохшей глоткой,
жизнь представляется вдруг короткой.
Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.
Изо рта вырываются пузыри.
В глазах возникает эквивалент зари.
В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий:

раз, два, три.

IX
«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского
осьминога.
Чудо, что письменные принадлежности и твоя
фотокарточка уцелели.
Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.
Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.
Постараюсь исследовать систему пищеваренья.
Это — единственный путь к свободе. Целую. Твой
верный Жак».
«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за
осьминога.
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо — попасть к акуле.
Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чем я их ни спрошу, слышу странное «хули-хули».
Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо».
«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорят, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жестокосердье
и гордыню, воцарившиеся на земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».
«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра
(с „Принца" и с „Витязя"). Дикари подавали, скаля
зубы. Обсуждали начатую вчера
тему бессмертья, „Мысли" Паскаля, последнюю вещь в
„Ла Скала".
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон — осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у
младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...»
(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от
лейтенанта Бенца.)

X
Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
Директор Компании произносит: «Черт!»,
Адмиралтейство: «Боже».
Оба не правы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчарку

по следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.
В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все — без отпечатка пальцев.
И потом наступает осень, за ней — зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.
И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда

синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.
Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.
Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.

1976

РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

I

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.
Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».
В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой.

II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.
Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.
И когда зима, Фортунатус, облекает квартал в рядно,
я б скучал в Галерее, где каждое полотно
— особливо Энгра или Давида —
как родимое выглядели бы пятно.
В сумерках я следил бы в окне стада
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорическою прической,
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.

III
Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредоточивается на вилке или ноже.
Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел бы в гостиной, давая вам
представленье
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.
Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношенья к ужину при свечах,
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый
отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.
Время, текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

IV
И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на
населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно за полночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными:
«Не наш!», —
я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запоминай же подробности, восклицая „Vive la Patrie!"»

1976
ЧАСТЬ РЕЧИ
(1975 - 1976)

^ ^ О
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

1 2 б

о ? о

Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.
Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится, и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.
И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

^ о о

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,

но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.
^ ^ о

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.
Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст
не имевших сказать кому.
о ? ?

Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанье в ночной тиши
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.

1JO

^ о ^

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь: перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средиземное море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, — в лужице
под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле

серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.
Что касается звезд, то они всегда.
То есть если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда;
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не задержишь взгляда.
0> ? 0>

В городке, из которого смерть расползалась
по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

Мюнхен
Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Ввечеру у тела, точно у Шивы рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль .стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.

М. Б.
Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держали — не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

Тихотворение мое, мое немое,
однако тяглое — на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно за полночь ища глазунию
луны за шторами зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там ни размазывай, но с кем в колене
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?
Темно-синее утро в заиндевевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит «Ганнибал» из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает — чем бы ни замели
следы — с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до «ох ты бля».
Ты не птица, чтоб улетать отсюда.
Потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом,
за бугром в чистом поле на штабель слов
пером кириллицы наколов.

1 39

Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву «У»,
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах;
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.
Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго — если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.
Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в
то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

...и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное «до»,
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт.
Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

1 44

1977

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА
(4 июня 1977)

Падучая звезда, тем паче — астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.
Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.
Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.
Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звездам до сих пор там запускают жучек

плюс офицеров, чьих не осознать получек.
Там зелень щавеля смущает зелень лука.
Жужжание пчелы там главный принцип звука.
Там копия, щадя оригинал, безрука.

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и ребер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее
нащупывает их рукой замерзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.
От дождевой струи там плохо спичке серной.
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

Там при словах «я за» течет со щек известка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой дает раза соседним странам войско.
Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.
Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,
там сахарный песок пересекаем мухой.
Там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,
мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.
Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.
Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.
Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.
Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.

Передних ног простор не отличит от задних.

Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже
не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.
Ее затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.
Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,
1 49
паясничать. Ну что ж! на все свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны
казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком
и не окаменел. Я слышу Музы лепет.
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

и без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречье. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.
Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

КВИНТЕТ

Марку Стрэнду

I

Веко подергивается. Изо рта
вырывается тишина. Европейские города
настигают друг друга на станциях. Запах мыла
выдает обитателю джунглей приближающегося врага.
Там, где ступила твоя нога,
возникают белые пятна на карте мира.
В горле першит. Путешественник просит пить.
Дети, которых надо бить,
оглашают воздух пронзительным криком. Веко
подергивается. Что до колонн, из-за
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,
даже во сне вы видите человека.

И накапливается, как плевок, в груди:
«Дай, мне чернил и бумаги, а сам уйди
прочь!» И веко подергивается. Невнятные причитанья
за стеной (будто молятся) увеличивают тоску.
Чудовищность творящегося в мозгу
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

II

Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.
Но — темнеет. Присядь, перекинься шуткой
с говорящей по-южному, нараспев,
обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев
стать человеком, сделалась проституткой.
Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,
участвуя в географии, в голубизне, а не
только в истории — этой коросте суши.
Лучше Гренландию пересекать, скрипя

лыжами, оставляя после себя
айсберги и тюленьи туши.
Алфавит не даст позабыть тебе
цель путешествия — точку «Б».
Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай;
слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк;
там, как над шкуркой зверька скорняк,
офицеры Генштаба орудуют над порыжевшей картой.

III

Тридцать семь лет я смотрю в огонь.
Веко подергивается. Ладонь
покрывается потом. Полицейский, взяв документы,
выходит в другую комнату. Воздвигнутый впопыхах,
обелиск кончается нехотя в облаках,
как удар по Эвклиду, как след кометы.
Ночь; дожив до седин, ужинаешь один,
сам себе быдло, сам себе господин.
Вобла лежит поперек крупно набранного сообщенья
об изверженье вулкана черт знает где,
иными словами, в чужой среде,
упираясь хвостом в «Последние Запрещенья».
Я понимаю только жужжанье мух
на восточных базарах! На тротуаре в двух
шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети,
путешественник ловит воздух раскрытым ртом:
сильная боль, на этом убив, на том
продолжается свете.

IV

«Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор,
племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,
«Здесь» — говорит племянница. Поскрипывают качели
в старом саду. На столе букет
фиалок. Солнце слепит паркет.
Из гостиной доносятся пассажи виолончели.

Ночью над плоскогорьем висит луна.
От валуна отделяется тень слона.
В серебре ручья нет никакой корысти.
В одинокой комнате простыню
комкает белое (смуглое) просто ню —
жидопись неизвестной кисти.
Весной в грязи копошится труженик-муравей,
появляется грач, твари иных кровей;
листва прикрывает ствол в месте его изгиба.
Осенью ястреб дает круги
над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги
болтается белый пиджак сагиба...

V
Было ли сказано слово? И если да, —
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
мысли? Помнит ли целое роль частиц?
Что способен подумать при виде птиц
в аквариуме ботаник?
Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нем
мелко подергивается день за днем
одинокое веко.
Это — записки натуралиста. За-
писки натуралиста. Капающая слеза
падает в вакууме без всякого ускоренья.
Вечнозеленое неврастение, слыша жжу
це-це будущего, я дрожу,
вцепившись ногтями в свои коренья.

ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

I
«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.

Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне
императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса».

II
«Дорога в тысячу ли начинается с одного
шага, гласит пословица. Жалко, что от него
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно
тысячу ли. Особенно, отсчитывая от „о".
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова
перекидывается на цифры; особенно на нули.
Ветер несет нас на запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письмена.
15 4

Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя».

1977
САН-ПЬЕТРО

I
Третью неделю туман не слезает с белой
колокольни коричневого, захолустного городка,
затерявшегося в глухонемом углу
Северной Адриатики. Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили
пропадают из виду, не заводя мотора.
И вывеску не дочитать до конца. Уже
не терракота и охра впитывают в себя
сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.
Тень, насыщающаяся от света,
радуется при виде снимаемого с гвоздя
пальто совершенно по-христиански. Ставни
широко растопырены, точно крылья
погрузившихся с головой в чужие
неурядицы ангелов. Там и сям
слезающая струпьями штукатурка
обнажает красную, воспаленную кладку,

и третью неделю сохнущие исподники
настолько привыкли к дневному свету
и к своей веревке, что человек
если выходит на улицу, то выходит
в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В два часа пополудни силуэт почтальона
приобретает в подъезде резкие очертанья,
чтоб, мгновенье спустя, снова сделаться силуэтом.
Удары колокола в тумане
повторяют эту же процедуру.
В итоге невольно оглядываешься через плечо
самому себе вслед, как иной прохожий,
стремясь рассмотреть получше щиколотки
прошелестевшей
мимо красавицы, но — ничего не видишь,
i56
кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина.
Направленье потеряно. За поворотом
фонари обрываются, как белое многоточье,
за которым следует только запах
водорослей и очертанья пирса.
Безветрие; и тишина как ржанье
никогда не сбивающейся с пути
чугунной кобылы Виктора-Эммануила.

II
Зимой обычно смеркается слишком рано;
где-то вовне, снаружи, над головою.
Туго спеленутые клочковатой
марлей стрелки на городских часах
отстают от меркнущего вдалеке
рассеянного дневного света.
За сигаретами вышедший постоялец
возвращается через десять минут к себе
по пробуравленному в тумане
его же туловищем туннелю.
Ровный гул невидимого аэроплана
напоминает жужжание пылесоса
в дальнем конце гостиничного коридора
и поглощает, стихая, свет.
«Неббия»*, — произносит, зевая, диктор,
и глаза на секунду слипаются, наподобье
раковины, когда проплывает рыба
(зрачок погружается ненадолго
в свои перламутровые потемки);
и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,
поглощенный чтением под одеялом;
одеяло все в складках, как тога Евангелиста
в нише. Настоящее, наше время
со стуком отскакивает от бурого кирпича
грузной базилики, точно белый
кожаный мяч, вколачиваемый в нее

* Nebbia (итая.) — туман.
школьниками после школы.

Щербатые, но не мыслящие себя
в профиль, обшарпанные фасады.
Только голые икры кривых балясин
одушевляют наглухо запертые балконы,
где вот уже двести лет никто
не появляется: ни наследница, ни кормилица.
Облюбованные брачующимися и просто
скучающими чудищами карнизы.
Колоннада, оплывшая, как стеарин.
И слепое, агатовое великолепье
непроницаемого стекла,
за которым скрываются кушетка и пианино:
старые, но именно светом дня
оберегаемые успешно тайны.
В холодное время года нормальный звук
предпочитает тепло гортани капризам эха.
Рыба безмолвствует; в недрах материка
распевает горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.
Повисший над пресным каналом мост
удерживает расплывчатый противоположный берег
от попытки совсем отделиться и выйти в море.
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. Вбирай же красной
губкою легких плотный молочный пар,
выдыхаемый всплывшею Амфитритой
и ее нереидами! Протяни
руку — и кончики пальцев коснутся торса,
покрытого мелкими пузырьками
и пахнущего, как в детстве, йодом.

III
Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку,
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды
лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,
как непарная обувь, разбросаны на песке,
поскрипывающем под подошвой. Помни:
любое движенье, по сути, есть
перенесение тяжести тела в другое место.
Помни, что прошлому не уложиться
без остатка в памяти, что ему
необходимо будущее. Твердо помни:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,
находящейся там, где сухой земли

больше нет. И патетика жизни с ее началом,
серединой, редеющим календарем, концом
и т. д. стушевывается в виду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.
Жесткая, мертвая проволока виноградной
лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.
Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и — главное — некому признаваться.
Смеркается; безветрие, тишина.
Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого
тростника. Пинаемая носком
жестянка взлетает в воздух и пропадает
из виду. Даже спустя минуту
не расслышать звука ее паденья
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.

1977
В АНГЛИИ

Диане и Алану Майерс
I. Брайтон-рок
Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые
скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и
длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое
море на сушу выбрасывает шум прибоя
и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска
лишней воды с лишней тьмой возникают, резко
выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы
скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы,
летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях
беззаботно
вскрикивает коноплянка; линия горизонта
с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой,
и танкер перебирает мачтами, как упавший
на спину муравей. В сознанье всплывает чей-то
телефонный номер — порванная ячейка
опустевшего невода. Бриз овевает щеку.
Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку,
и отраженье полощется рядом с оцепеневшей лодкой.
В середине длинной или в конце короткой
жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради
темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади,
схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая,
на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.

II. Северный Кенсингтон
Шорох «Ирландского Времени», гонимого ветром по
железнодорожным путям к брошенному депо,
шелест мертвой полыни, опередившей осень,
серый язык воды подле кирпичных десен.

Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но
длящейся жизни, к которым уже давно
ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой
собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.
Только мышь понимает прелести пустыря —
ржавого рельса, выдернутого штыря,
проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза,
поражения времени перед лицом железа.
Ничего не исправить, не использовать впредь.
Можно только залить асфальтом или стереть
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой
бетонного стадиона с орущей массой.
И появится мышь. Медленно, не спеша,
выйдет на середину поля, мелкая, как душа
по отношению к плоти, и, приподняв свою
обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».

III. Сохо

В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной
говорящего рта. Партнер созерцает стены,
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в «Сцены
скачек в Эпсоме». — Флаги. Наездник в алом
картузе рвется к финишу на полуторагодовалом
жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах
завывает ветер.
На трибунах творится невообразимое... — «не ответил
на второе письмо, и тогда я решила...» Голос
представляет собою борьбу глагола с
ненаставшим временем. Молодая, худая
рука перебирает локоны, струящиеся, не впадая
никуда, точно воды многих
рек. Оседлав деревянных четвероногих,
вкруг стола с недопитым павшие смертью храбрых
на чужих простынях джигитуют при канделябрах
к подворотне в -ском переулке, засыпанной
снегом. — Флаги
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги
различимы становятся у соперника на подбородке,
и трибуны теряются из виду... — В подворотне
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако кто бы
ни пришел сюда первым, колокол в переулке
не звонит. И подковы сивки или каурки
в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.

IV. Ист Финчли

Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой
стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий
и садовой герани, точно дредноут в мелком
деревенском канале. Перепачканный мелом
правый рукав пиджака, так же как самый голос,

выдает род занятий — «Розу и гладиолус
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,
раз или два в неделю». И он мне приводит цифры
из «Советов любителю-садоводу»
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной,
скупо обставленной, нарочито пустынной,
жена — он женат вторым браком, — как подобает женам,
раскладывает, напевая, любимый Джоном
Голсуорси пасьянс «Паук». На стене акварель: в воде
отражается вид моста неизвестно где.
Всякий живущий на острове догадывается, что рано
или поздно все это кончается; что вода из-под крана,
прекращая быть пресной, делается соленой,
и нога, хрустевшая гравием и соломой,
ощущает внезапный холод в носке ботинка.
В музыке есть то место, когда пластинка
начинает вращаться против движенья стрелки.
И на камине маячит чучело перепелки,
понадеявшейся на бесконечность леса,
ваза с веточкой бересклета
и открытка с видом базара где-то в Алжире — груды
пестрой материи, бронзовые сосуды,
сзади — то ли верблюды, то ли просто холмы;
люди в тюрбанах. Не такие, как мы.
Аллегория памяти, воплощенная в твердом
карандаше, застывшем в воздухе над кроссвордом.
Дом на пустынной улице, стелющейся покато,
в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката
отражается, точно в окне экспресса,
уходящего в вечность, где не нужны колеса.
Милая спальня (между подушек — кукла),
где ей снятся ее «кошмары». Кухня;
издающая запах чая гудящая хризантема
газовой плитки. И очертанья тела
оседают на кресло, как гуща, отделяющаяся от жижи.

Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни
стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку
мелкие вещи — с розой, подобной знаку
бесконечности из-за пучка восьмерок,
с колесом георгина, буксующим меж распорок,
как расхристанный локомотив Боччони,
с танцовщицами-фуксиями и с еще не
распустившейся далией. Плавающий в покое
мир, где не спрашивают «что такое?
что ты сказал? повтори» — потому что эхо
возвращает того воробья неизменно в ухо
от китайской стены; потому что ты
произнес только одно: «цветы».

V. Три рыцаря

В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу
спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу-
мраке ротонды, как каменные осетры,
чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три
горбоносы и узколицы, и с головы до пят
рыцари: в панцире, в шлеме, с длинным мечом. И спят
дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки
скрещены на груди, точно две севрюги.

За щелчком аппарата следует вспышка — род
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед, "
на стену будущего, есть как бы выстрел). Три
рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри
камеры то, что уже случилось — либо при Пуатье,
либо в Святой Земле: путешественник в канотье
для почивших за-ради Отца и Сына
и Святого Духа ужаснее сарацина.

Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки
порхают у баптистерия над клумбою и т. д.
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде,
природа скорей успокаивает, чем увлекает глаз;
и под стеной ротонды, как перед раз
навсегда опустившимся занавесом в театре,
аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.

VI. Йорк
W. H. A.
Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою
под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средою
наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром,
и поля выгорают. Города отдают лежалым
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.
И твой голос — «Я знал трех великих поэтов. Каждый
был большой сукин сын» — раздается в моих ушах
с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг
и готов оглянуться. Скоро четыре года,
как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелой
перехода
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,
тополя. Честер тоже умер — тебе известно
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счетах,
воробьи восседают на проводах. Ничто так
не превращает знакомый подъезд в толчею колонн,
как любовь к человеку; особенно, если он
мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.
Танец белых капустниц похож на корабль в бурю.
Человек приносит с собою тупик в любую
точку света; и согнутое колено

размножает тупым углом перспективу плена,
как журавлиный клин, когда он берет
курс на Юг. Как всё движущееся вперед.
Пустота, поглощая солнечный свет на общих
основаньях с боярышником, увеличивается на ощупь
в направленье вытянутой руки, и
мир сливается в длинную улицу, на которой живут
другие.
В этом смысле он — Англия. Англия в этом смысле
до сих пор Империя и в состоянье — если
верить музыке, булькающей водой, —
править морями. Впрочем — любой средой.
Я в последнее время немного сбиваюсь, скалюсь
отраженью в стекле витрины; покамест палец
набирает свой номер, рука опускает трубку.
Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку,
замершую на воде посередине бухты.
Выходя наружу из телефонной будки,
слышу голос скворца, в крике его — испуг.
Но раньше, чем он взлетает, звук
растворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,
ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно
заполняет местный ландшафт. Как сухая пена,
овцы покоятся на темно-зеленых волнах
йоркширского вереска. Кордебалет проворных
бабочек, повинуясь невидимому смычку,
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку
ни на чем задержаться. И вертикальный стебель
иван-чая длинней уходящей на Север
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.
Вычитая из меньшего большее, из человека — Время,
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом
фоне отчетливей, чем удается телом
это сделать при жизни, даже сказав «лови!».
Что источник любви превращает в объект любви.

VII

Английские каменные деревни.
Бутылка собора в окне харчевни.
Коровы, разбредшиеся по полям.
Памятники королям.
Человек в костюме, побитом молью,
провожает поезд, идущий, как всё тут, к морю,

улыбается дочке, уезжающей на Восток.
Раздается свисток.
И бескрайнее небо над черепицей
тем синее, чем громче птицей
оглашаемо. И чем громче поет она,
тем все меньше видна.

* Здесь и далее в квадратные скобки заключен год первой публикации стихотворения, когда нет других

сведений о дате его написания.

[1977] *

1978

ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Все собаки съедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не щадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.

22 июля 1978

М. Б.

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,
белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе,
темнеть — особенно вечером — в коридоре,
спой мне песню о том, как шуршит портьера,
как включается, чтоб оглушить полтела,
тень, как лиловая муха сползает с карты
и закат в саду за окном точно дым эскадры,
от которой осталась одна матроска,
позабытая в детской. И как расческа
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку — леской,
возвышает болонку над Ковалевской
до счастливого случая тявкнуть сорок
раз в день рожденья, — и мокрый порох
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978

Восславим приход весны! Ополоснем лицо,
чирьи прижжем проверенным креозотом
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса — радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрогнув, себя застаешь в грядущем.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.

[1978]

Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,

мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устье,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
листолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет
пальцев. Чем больше пальцев, тем меньше платья.

[1978]

ПОЛДЕНЬ В КОМНАТЕ

I
Полдень в комнате. Тот покой,
когда наяву, как во
сне, пошевелив рукой,
не изменить ничего.
Свет проникает в окно, слепя.
Солнце, войдя в зенит,
луч кладет на паркет, себя
этим деревенит.
Пыль, осевшая в порах скул.
Калорифер картав.
Тело, застыв, продлевает стул.
Выглядит, как кентавр

II
вспять оглянувшийся: тень, затмив
профиль, чье ремесло —
затвердевать, уточняет миф,
повторяя число
членов. Их переход от слов
к цифрам не удивит.
Глаз переводит, моргнув, число в
несовершенный вид.
Воздух, в котором ни встать, ни сесть,
ни, тем более, лечь,
воспринимает «четыре», «шесть»,
«восемь» лучше, чем речь.

III
Я родился в большой стране,
в устье реки. Зимой
она всегда замерзала. Мне
не вернуться домой.
Мысль о пространстве рождает «ах»
оперу, взгляд в лорнет.
В цифрах есть нечто, чего в словах

даже крикнув их, нет.
Птица щебечет, из-за рубежа
вернувшись в свое гнездо.
Муха бьется в стекле, жужжа
как «восемьдесят». Или — «сто».

IV
Там был город, где, благодаря
точности перспектив,
было вдогонку бросаться зря,
что-либо упустив.
Мост над замерзшей рекой в уме
сталью своих хрящей
мысли рождал о другой зиме —
то есть зиме вещей,
где не встретить следов; рельеф
выглядит, как стекло.
Только маятник, замерев,
источает тепло.

V
Воздух, бесцветный и проч., зато
необходимый для
существования, есть ничто,
эквивалент нуля.
Странно отсчитывать от него
мебель, рога лося,
себя; задумываться, «ого»
в итоге произнося.
Взятая в цифрах, вещь может дать
тамерланову тьму,
род астрономии. Что под стать
воздуху самому.

VI

Там были также ряды колонн,
забредшие в те снега,
как захваченные в полон,
раздетые донага.
В полдень, гордясь остротой угла,
как возвращенный луч,
обезболивала игла
содержимое туч.
Слово, сказанное наугад,
вслух, даже слово лжи,
воспламеняло мозг, как закат
верхние этажи.

VII

Воздух, в сущности, есть плато,

пат, вечный шах, тщета,
ничья, классическое ничто,
гегелевская мечта.
Что исторгает из глаз ручьи.
Полдень. Со стороны
мозг неподвижней пластинки, чьи
бороздки засорены.
Полдень; жевательный аппарат
пробует завести,
кашлянув, плоский пи-эр-квадрат —
музыку на кости.
Там были комнаты. Их размер
порождал ералаш,
отчего потолок, в чей мел
взор устремлялся ваш,
только выигрывал. Зеркала
копили там дотемна
пыль, оседавшую, как зола
Геркуланума, на
обитателей. Стопки книг,
стулья, в окне — слюда
инея. То, что случалось в них,
случалось там навсегда.

IX
Звук уступает свету не в
скорости, но в вещах,
внятных даже окаменев,
обветшав, обнищав.
Оба преломлены, искажены,
сокращены: сперва —
до потёмок, до тишины;
превращены в слова.
Можно вспомнить закат в окне,
либо — мольбу, отказ.
Оба счастливы только вне
тела. Вдали от нас.

X
Я был скорее звуком, чем —
стыдно сказать — лучом
в царстве, где торжествует чернь,
прикидываясь грачом
в воздухе. Я ночевал в ушных
раковинах: ласкал
впадины, как иной жених —
выпуклости; пускал
петуха. Но, устремляясь ввысь,
звук скидывает балласт:
сколько в зеркало ни смотрись,
оно эха не даст.

XI
Там принуждали носить пальто,
ибо холод лепил
тело, забытое теми, кто
раньше его любил,
мраморным. Т. е. без лёгких, без
имени, черт лица,
в нише, на фоне пустых небес,
на карнизе дворца.
Там начинало к шести темнеть.
В восемь хотелось лечь.
Но было естественней каменеть
в профиль, утратив речь.

XII
Двуногое — впрочем, любая тварь
(ящерица, нетопырь) —
прячет в своих чертах букварь,
клеточную цифирь.
Тело, привыкшее к своему
присутствию, под ремнем
и тканью, навязывает уму
будущее. Мысль о нем.
Что — лишнее! Тело в анфас уже
само есть величина!
сумма! Особенно — в неглиже,
и лампа не включена.

XIII
В будущем цифры рассеют мрак.
Цифры не умира.
Только меняют порядок, как
телефонные номера.
Сонм их, вечным пером привит
к речи, расширит рот,
удлинит собой алфавит;
либо наоборот.
Что будет выглядеть, как мечтой
взысканная земля
с синей, режущей глаз чертой —
горизонтом нуля.

XIV
Или — как город, чья красота,
неповторимость чья
была отраженьем своим сыта,
как Нарцисс у ручья.
Так размножаются камень, вещь,
воздух. Так зрелый муж,
осознавший свой жуткий вес,
не избегает луж.
Так, по выпуклому лицу

памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, под стать слепцу,
опознает себя.

XV
В будущем, суть в амальгаме, суть
в отраженном вчера,

в столбике будет падать ртуть,
летом — жужжать пчела.
Там будут площади с эхом, в сто
превосходящим раз
звук. Что только повторит то,
что обнаружит глаз.
Мы не умрем, когда час придет!
Но посредством ногтя
с амальгамы нас соскребет
какое-нибудь дитя!

XVI
Знай, что белое мясо, плоть,
искренний звук, разгон
мысли ничто не повторит — хоть
наплоди легион.
Но, как звезда через тыщу лет,
ненужная никому,
что не так источает свет,
как поглощает тьму,
следуя дальше чем тело, взгляд
глаз, уходя вперед,
станет назад посылать подряд
всё, что в себя вберет.

[1978]*
* Имеется экземпляр книги «Урания», где это
стихотворение датировано автором «1974—1975».
АннАрбор, Мичиган

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской...
Анна Ахматова
Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному «во саду ли,
в огороде», бренчавшему вечером за стеною;
окно, занавешенное выстиранной простынею?
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим за полночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,

неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской.
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоваттной.
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончания шепота, крика, плача.

[1978]

СТРОФЫ

М. Б.

I

Наподобье стакана,
оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.

II

Вечером, дорогая,
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.

III

Дорогая, что толку
пререкаться, вникать
в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
тень; либо — вместе со всеми

передвигать ферзя.
Все, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша,
стачивает — то лаской,
то посредством резца —
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.

V
Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношенью к ней.
Может, вообще пропажа
тела из виду есть
со стороны пейзажа
дальнозоркости месть.

VI
Только пространство корысть
в тычущем вдаль персте
может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.

VII
Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет взаймы.
Человек — только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.
Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.
EX
Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба.

Нехотя, из-под палки,
признаешь эту власть,
подчиняешься Парке,
обожающей прясть.

X
Жухлая незабудка
мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква,
я пячусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска, —
жертвы законов речи,
запятых, языка.

XI
Дорогая, несчастных
нет! нет мертвых, живых.
Всё — только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.
Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало суля добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.

XIII
Ты не услышишь ответа,
если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
где белизна сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.

XIV
Бедность сих строк — от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
не меняет белье;
здесь — не Сатурн, и с круга
не соскочить в нее.

XV
С той дурной каруселе,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
но где ночь застает.
Сколько глаза ни колешь
тьмой — расчетом благим
повторимо всего лишь
слово: словом другим.
Так барашка на вертел
нижут, разводят жар.
Я, как мог, обессмертил
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
все, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.

XVII
Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы.
Лишь объекту злоречья,
вместе с шансом в пятно
уменьшаться, предплечье
в утешенье дано.

XVIII
Ах, за щедрость пророчеств —
дней грядущих шантаж —
как за бич наших отчеств,
память, много не дашь.
Им присуща, как аист
свёртку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.

XIX
Эти вещи сольются
в свое время в глазу
у воззрившихся с блюдца
на пестроту внизу.
Полагаю, и вправду
хорошо, что мы врозь,
чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.
Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото —
вид планеты с Луны.

Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всем недосуг.

XXI
Неуместней, чем ящер
в филармонии, вид
нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная здесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.

XXII
Эти строчки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлиняют срока.
Иванову. Петрову.
Своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счеты свести.

XXIII
Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем —
тот же старческий бред.
Лучше всё, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше — дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т. п.;
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

XXV
Около океана,
летней ночью. Жара
как чужая рука на
темени. Кожура,
снятая с апельсина,
жухнет. И свой обряд,
как жрецы Элевсина,

мухи над ней творят.

XXVI
Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо».
Потому что за этим
не следует ничего.

ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА

Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
...так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.

[1978]

1980

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволят своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980

1 р2

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как другой Назарей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

1980

СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980 ГОДА
В полдневный жар в долине Дагестана...
М. Ю. Лермонтов
I
Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремленья согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо — как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

II
Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.
Механический слон, задирая хобот
в ужасе перед черной мышью
мины в снегу, изрыгает к горлу
подступивший комок, одержимый мыслью,
как Магомет, сдвинуть с места гору.
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
отпускает им в полдень сухой избыток.
Горы не двигаются, передавая

свою неподвижность телам убитых.

III
Заунывное пение славянина
вечером в Азии. Мерзнущая, сырая
человеческая свинина
лежит на полу караван-сарая.

Тлеет кизяк, ноги окоченели;
пахнет тряпьем, позабытой баней.
Сны одинаковы, как шинели.
Больше патронов, нежели воспоминаний,
и во рту от многих «ура» осадок.
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!

IV

В чем содержанье жужжанья трутня?
В чем — летательного аппарата?
Жить становится так же трудно,
как строить домик из винограда
или — карточные ансамбли.
Все неустойчиво (раз — и сдуло):
семьи, частные мысли, сакли.
Над развалинами аула
ночь. Ходя под себя мазутом,
стынет железо. Луна от страха
потонуть в сапоге разутом
прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

V

Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух.
Ввезенная, сваленная как попало
тишина. Растущая, как опара,
пустота. Существуй на звездах
жизнь, раздались бы аплодисменты,
к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.
Убийство — наивная форма смерти,
тавтология, ария попугая,
дело рук, как правило, цепкой бровью
муху жизни ловящей в своих прицелах
молодежи, знакомой с кровью
понаслышке или по ломке целок.
Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай «уу» сирены.
Новое оледененье — оледененье рабства
наползает на глобус. Его морены
подминают державы, воспоминанья, блузки.
Бормоча, выкатывая орбиты,

мы превращаемся в будущие моллюски,
бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек.

VII
В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор.
«Шарик! Шарик! Прием. Я — Жучка».
Шарик внизу, и на нем экватор.
Как ошейник. Склоны, поля, овраги
повторяют своей белизною скулы.
Краска стыда вся ушла на флаги.
И в занесенной подклети куры
тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980

1 рб

М. Б.
То не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.
И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.
И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.
Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где — Господь прости —
точно рыба — воздух, сырой губой
я хватал что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».
Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить — где.
Больше длинных жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него — и потом сотри.

1980

ЭКЛОГА 4-я (зимняя)
Ultima Cumaei venit jam carminis aetas:
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Virgil, Eclogue W 1
Дереку Уолкотту
I
Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.
Сухая, сгущенная форма света —
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,
на бессонницу, на доступность глазу
в темноте. Роза и незабудка
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами
оставляют следы. Ночь входит в город, будто
в детскую: застает ребенка под одеялом;
и перо скрипит, как чужие сани.

II
Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги
обострившийся слух различает невольно тему
оледенения. Всякое «во-саду-ли»
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре
либо — вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,
и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, не застав радиста.

В феврале лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,
лютей самого металла — дабы
не пришлось его с кровью
отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV
В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,

точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить климат
либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,
— мир, не слыхавший о лондонах и парижах,
мир, где рассеянный свет — генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило

одиночество. Но, как у бюста в нише,
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.
Там, где роятся сны, за пределом зренья,
время, упавшее сильно ниже
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,
как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться
с прошлым. Зимою на самом деле
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
свет уже выключили или еще не включили?
Газеты могут печататься раз в неделю.
Время глядится в зеркало, как певица,
позабывшая, что это — «Тоска» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
Ход конем лоскутное одеяло
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
Чем больше лютует пурга над кровлей,
тем жарче требует идеала
голое тело в тряпичной гуще.
И вам снятся настурции, бурный Терек
в тесном ущелье, мушиный куколь
между стеной и торцом буфета:
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь

тлеет в серой золе рассвета.

1 pp
Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.
Населенье сдается, не сняв треуха.
Города — особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят как пророки его триумфа,
смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна
выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX
В феврале чем позднее, тем меньше ртути.
Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды
как разбитый термометр: каждый квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,
белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горе, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.

X
Я не способен к жизни в других широтах.
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.
Слава голой березе, колючей ели,
лампочке желтой в пустых воротах,
— слава всему, что приводит в движенье ветер!
В зрелом возрасте это — вариант колыбели.

Север — честная вещь. Ибо одно и то же
он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный голос
в затянувшейся жизни — разными голосами.
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,
напоминая забравшемуся на полюс
о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.
В космосе самый глубокий выдох
не гарантирует вдоха, уход — возврата.
Время есть мясо немой Вселенной.
Там ничего не тикает. Даже выпав

из космического аппарата,
ничего не поймаете: ни фокстрота,
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве
и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —
точно «чижика» где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.

В определенном возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору неважно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы.
В эту пору ваш взгляд отстает от жеста.
Треугольник больше не пылкая теорема:
все углы затянула плотная паутина,
пыль. В разговорах о смерти место
играет все большую роль, чем время,
и слюна, как полтина,

XIV
обжигает язык. Реки, однако, вчуже
скованы льдом; можно надеть рейтузы;
прикрутить к ботинку железный полоз.
Зубы, устав от чечетки стужи,
не стучат от страха. И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.
Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.

1980
Восходящее желтое солнце следит косыми

глазами за мачтами голой рощи,
идущей на всех парах к цусиме
Крещенских морозов. Февраль короче
прочих месяцев и оттого лютее.
Кругосветное плавание, дорогая,
лучше кончить, руку согнув в локте и
вместе с дредноутом догорая
в недрах камина. Забудь цусиму!
Только огонь понимает зиму.
Золотистые лошади без уздечек
масть в дымоходе меняют на масть воронью.
И в потемках стрекочет огромный нагой кузнечик,
которого не накрыть ладонью.

[1980]

Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою.
И она скукоживается на глазах, под рукою.
Зеленая нитка, следом за голубою,
становится серой, коричневой, никакою.
Уж и краешек, вроде, виден того батиста.
Ни один живописец не напишет конец аллеи.
Знать, от стирки платье невесты быстрей садится,
да и тело не делается белее.
То ли сыр пересох, то ли дыханье сперло.
Либо: птица в профиль ворона, а сердцем — кенар.
Но простая лиса, перегрызая горло,
не разбирает, где кровь, где тенор.

[1980]

1981

ПЬЯЦЦА МАТТЁИ

I

Я пил из этого фонтана
в ущелье Рима.
Теперь, не замочив кафтана,
канаю мимо.
Моя подружка Микелина,
в порядке штрафа
мне предпочла кормить павлина
в именье графа.

II

Граф, в сущности, совсем не мерзок:
он сед и строен.
Я был с ним по-российски дерзок,
он был расстроен.

Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина.

III

Граф выиграл, до клубнички лаком,
в игре без правил.
Он ставит Микелину раком,
как прежде ставил.
Я тоже, впрочем, не внакладе:
и в Риме тоже
теперь есть место крикнуть: «Бляди!»,
вздохнуть: «О Боже».

Не смешивает пахарь с пашней
плодов плачевных.
Потери, точно скот домашний,
блюдет кочевник.
Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом, отелем, видом
Терм, Колизея.

V
А так он — место грусти, выи,
склоненной в баре,
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.
Сидишь, обдумывая строчку,
и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.

VI
Как возвышает это дело!
Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.
Пусть ты последняя рванина,
пыль под забором,
на джентльмена, дворянина
кладешь с прибором.

VII
Нет, я вам доложу, утрата,
завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.

Забудем о дешевом графе!

Заломим брови!
Поддать мы в миг печали вправе
хоть с принцем крови!

VIII

Зима. Звенит хрусталь фонтана.
Цвет неба — синий.
Подсчитывает трамонтана
иголки пиний.
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол).

IX

В морозном воздухе, на редкость
прозрачном, око,
невольно наводясь на резкость,
глядит далёко —
на Север, где в чаду и в дыме
кует червонцы
Европа мрачная. Я — в Риме,
где светит солнце!

X

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый, —
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций.

Попробуем же отстраниться,
взять век в кавычки.
Быть может, и в мои страницы,
как в их таблички,
кириллицею не побрезгав
и без ущерба
для зренья, главная из Резвых
взглянет — Эвтерпа.

XII
Не в драчке, я считаю, счастье
в чертоге царском,
но в том, чтоб, обручив запястье
с котлом швейцарским,
остаток плоти терракоте

подвергнуть, сини,
исколотой Буонарроти
и Борромини.

XIII
Спасибо, Парки, Провиденье,
ты, друг-издатель,
за перечисленные деньги.
Сего податель
векам грядущим в назиданье
пьет чоколатта
кон панна в центре мирозданья
и циферблата!

XIV
С холма, где говорил октавой
порой иною
Тасс, созерцаю величавый
вид. Предо мною —

не купола, не черепица
со Св. Отцами:
то — мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами!

XV

И в логове ее я — дома!
Мой рот оскален
от радости: ему знакома
судьба развалин.
Огрызок цезаря, атлета,
певца тем паче
есть вариант автопортрета.
Скажу иначе:

XVI

усталый раб — из той породы,
что зрим все чаще, —
под занавес глотнул свободы.
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.

XVII

Ей свойственно, к тому ж, упрямство.
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство

(что вряд ли), семя
свободы в злом чертополохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег. И даже
сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь — словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.
февраль 1981
Рим

ГОРЕНИЕ

М. Б.
Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем —
как женская голова
ветреным ясным днем.
Как золотится прядь,
слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.
Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается «не тронь»
и вспыхивает «меня!».
От этого — горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся «еще!»
и бешеное «пусти!».

Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной

зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов —
раскаленность щипцов!
Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок

раздевшийся догола,
скинувший все швырок.
Только одной тебе
свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого — себя!
Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
наряженное пестро,
мы снова наедине!
Это — твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.
Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назарею б та страсть,
воистину бы воскрес!
Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада пляши
с закушенною губой.
Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!
Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхнут уста.
Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.
Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя — зола,
тусклые уголья,
холод, рассвет, снежок,
пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог —
не удержавший мозг.

1981

ПРИЛИВ

I

В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.
Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.
В доме — шаром покати, и в станке — ко идей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.
В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.
И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

II

В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилоном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чем
не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить оглядываться не успел!
Здесь кривится губа, и не стоит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.
И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки, не то что твои слова.
При отсутствии эха вещь, чтоб ее украсть,
увеличить приходится раза в два.

III
В ветреной части мира я отыскал приют.
Для нее я — присохший ком, но она мне — щит.
Здесь меня не найдут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит
в этих широтах цвета дурных дрожжей;
карту избавив от пограничных дрязг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстилается, издавая лязг.
И, один приглашенный на этот бескрайний пир,
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло,
потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем по лицу текло.
Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.

Но покуда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.

IV
В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа со временем пополам
может все повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырым делам!
Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.
Плюс пустые дома стоят как давным-давно
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрачка, ржавою чешуей.
И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутый в жесть,
и громоздкая письменность с ревом идет на слом,
никому не давая себя прочесть.

V
Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»
Все равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и, в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелясь, разбираешь, как донный краб.
Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты навострился слагать из костей И. Х.
Так впадает — куда, стыдно сказать — клешня.
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать не держась перил.

1981
ЭКЛОГА 5-я (летняя)
Марго Пикен
I
Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!
Потные муравьи спят в тени куреслепа.
Муха сползает с пыльного эполета
лопуха, разжалованного в рядовые.
Выраженье «ниже травы» впервые
означает гусениц. Буровые
вышки разросшегося кипрея

в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея
синеют от близости эмпирея.
Салют бесцветного болиголова
сотрясаем грабками пожилого
богомола. Темно-лилова,
сердцевина репейника напоминает мину,
взорвавшуюся как бы наполовину.
Дягиль тянется точно рука к графину.
И паук, как рыбачка, латает крепкой
ниткой свой невод, распятый терпкой
полынью и золотой сурепкой.
Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чебреца, тимофеевки — драгоценны
для понимания законов сцены,
не имеющей центра. И злак, и плевел
в полдень отбрасывают на север
общую тень, ибо их посеял
тот же ветреный сеятель, кривотолки
о котором и по сей день не смолкли.
Вслушайся, как шуршат метелки
петушка-или-курочки! что лепечет
ромашки отрывистый чет и нечет!
как мать-и-мачеха им перечит,
как болтает, точно на грани бреда,
примятая лебедою Леда
нежной мяты. Лужайки лета,
освещенные солнцем! бездомный мотыль,
пирамиды крапивы, жара и одурь.
Пагоды папоротника. Поодаль —
анис, как рухнувшая колонна,
минарет шалфея в момент наклона —
травяная копия Вавилона,
зеленая версия Третьеримска!
где вправо сворачиваешь не без риска
вынырнуть слева: все далеко и близко.
И кузнечик в погоне за балериной
капустницы, как герой былинный,
замирает перед сухой былинкой.

II

Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже
выглядит синим. Порою — даже
темно-синим. Возможно, та же
вещь случается с зеленью: удаленность
взора от злака и есть зеленость
оного злака. В июле склонность
флоры к разрыву с натуралистом,
дав потемнеть и набрякнуть листьям,
передается с загаром лицам.

Сумма красивых и некрасивых,
удаляясь и приближаясь, в силах
глаз измучить почище синих
и зеленых пространств. Окраска
вещи на самом деле маска
бесконечности, жадной к деталям. Масса,
увы, не кратное от деленья
энергии на скорость зренья
в квадрате, но ощущенье тренья
о себе подобных. Вглядись в пространство!
в его одинаковое убранство
поблизости и вдалеке! в упрямство,
с каким, независимо от размера,
зелень и голубая сфера
сохраняют колер. Это — почти что вера,
род фанатизма! Жужжанье мухи,
увязшей в липучке, — не голос муки,
но попытка автопортрета в звуке
«ж». Подобие алфавита,
тело есть знак размноженья вида
за горизонт. И пейзаж — лишь свита
убежавших в Азию, к стройным пальмам,
особей. Верное ставням, спальням,
утро в июле мусолит пальцем
пачки жасминовых ассигнаций,
лопаются стручки акаций,
и воздух прозрачнее комбинаций
спящей красавицы. Душный июль! Избыток
зелени и синевы — избитых
форм бытия. И в глазных орбитах —
остановившееся, как Аттила
перед мятым щитом, светило:
дальше попросту не хватило
означенной голубой кудели
воздуха. В одушевленном теле
свет узнает о своем пределе
и преломляется, как в итоге
длинной дороги, о чьем истоке
лучше не думать. В конце дороги —

III
бабочки, мальвы, благоуханье сена,
река вроде Оредежи или Сейма,
расположившиеся подле семьи
дачников, розовые наяды,
их рискованные наряды,
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,
скрывающий белизну опальных
мест у скидывающих купальник
в зарослях; запах хвои, обрывы

цвета охры; жара, наплывы
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О, водоемы лета! Чаще
всего блестящие где-то в чаще
пруды или озёра — части
воды, окруженные сушей; шелест
осоки и камышей, замшелость
коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
водоросли — или рай для линий —
и шастающий, как Христос, по синей
глади жук-плавунец. И порою окунь
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.
Лето! пора рубах навыпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то приняв вас сослепу за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.
Лес — как ломаная расческа.
И внезапная мысль о себе подростка:
«выше кустарника, ниже ели»
оглушает его на всю жизнь. И еле
видный жаворонок сыплет трели
с высоты. Лето! пора зубрежки
к экзаменам, формул, орла и решки;
прыщи, бубоны одних, задержки
других — от страха, что не осилишь;
силуэты техникумов, училищ,
даже во сне. Лишь хлысты удилищ
с присвистом прочь отгоняют беды.
В образовавшиеся просветы
видны сандалии, велосипеды
в траве; никелированные педали
как петлицы кителей, как медали.
В их резине и в их металле
что-то от будущего, от века
европы, железных дорог — чья ветка
и впрямь, как от порыва ветра,

дает зеленые полустанки —
лес, водокачка, лицо крестьянки,
изгородь — и из твоей жестянки
расползаются вправо-влево
вырытые рядом со стенкой хлева
червяки. А потом — телега
с наваленными на нее кулями
и бегущий убранными полями
проселок. И где-то на дальнем плане
церковь — графином, суслоны, хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стёкла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,
удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы,
как лохматая Жучка, она же Динка;
и ты глядишь на носок ботинка,
в зубах травинка, в мозгу блондинка
с каменной дачи — и в верхотуре
только журавль, а не вестник бури.
Слава нормальной температуре! —

на десять градусов ниже тела.
Слава всему, до чего есть дело.
Всему, что еще вам не надоело!
Рубашке болтающейся, подсохнув,
панаме, выглядящей как подсолнух,
вальсу издалека «На сопках».

IV
Развевающиеся занавески летних
сумерек! крынками полный ледник,
сталин или Хрущев последних
тонущих в треске цикад известий,
варенье, сделанное из местной
брусники. Обмазанные известкой
щиколотки яблоневой аллеи
чем темнее становится, тем белее;
а дальше высятся бармалеи
настоящих деревьев в сгущенной синьке
вечера. Кухни, зады, косынки,
слюдяная форточка керосинки
с адским пламенем. Ужины на верандах!
Картошка во всех ее вариантах.
Лук и редиска невероятных
размеров, укроп, огурцы из кадки,
помидоры, и все это — прямо с грядки,
и, наконец, наигравшись в прятки,
пыльные емкости! Копоть лампы.
Пляска теней на стене. Таланты
и поклонники этого действа. Латы
самовара и рафинад, от соли

отличаемый с помощью мухи. Соло
удода в малиннике. Или — ссоры
лягушек в канаве у сеновала.
И в латах кипящего самовара —
ужимки вытянутого овала,
шорох газеты, курлы отрыжек;
из гостиной доносится четкий «чижик»;
и мысль Симонида насчет лодыжек
избавляет на миг каленый
взгляд от обоев и ответвлений
боярышника: вид коленей
всегда недостаточен. Тем дороже
тело, что ткань, его скрыв, похоже
помогает скользить по коже,
лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка
нового компаса, определяя
Север не хуже, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,
пазы в рассохшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти
звуки смолкают. И глухо — глуше,
чем это воспринимают уши —
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк
— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене невнятен.
И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,
еще не желтая, мощь Китая.
Л/. Б.
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, ворбнью
ночь склоняла чело.
Я был лишь тем, что ты
там, внизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже — черты.
Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
оставляют вращаться,
расточая дары.
Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданье потерян,
кружится шар.

РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком — пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Ставя босую ногу на красный мрамор,
тело делает шаг в будущее — одеться.
Крикни сейчас «замри» — я бы тотчас замер,
как этот город сделал от счастья в детстве.
Мир состоит из наготы и складок.
В этих последних больше любви, чем в лицах.
Так и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
На ночь глядя, синий зрачок полощет
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.
И луна в головах, точно пустая площадь:
без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположенье ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопочи же, струя, над белоснежной дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея
узнают себя тоже; только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время

варварским взглядом обводит форум.

Ill

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного города от светила,
навязавшего цезарям их незрячесть
(этих лучей за глаза б хватило
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
считаю с прожитой жизни сдачу.
И, как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит на выжженной балюстраде.
И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
той из них, что прекрасней. Два молодых овала
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
объясняет Судьбе то, что надиктовала.
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном.
Перемена прически; и локоть — на миг — вершина,
привыкшая к ветреным переменам.
О, коричневый глаз впитывает без усилий
мебель того же цвета, штору, плоды граната.
Он и зорче, он и нежней, чем синий.
Но синему — ничего не надо!
Синий всегда готов отличить владельца
от товаров, брошенных вперемежку
(т. е. время — от жизни), дабы в него вглядеться.
Так орел стремится вглядеться в решку.

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью, как чешуею рыба,
и коричневая штукатурка
дышит, хлопая жаброй, прелым
воздухом августа, и в горячей
полости горла холодным перлом
перекатывается Гораций.
Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их острастки.
О своем — и о любом — грядущем
я узнал у буквы, у черной краски.

Так задремывают в обнимку
с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе
сны, себя опознать по снимку,
очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а-ля ветви местных пиний:
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.
Но и птичка из туч вниз не вернется синей,
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,
выси и проч. брезгают гладью кожи.
Тело обратно пространству, как ни крути педали.
И несчастны мы, видимо, оттого же.
Привались лучше к портику, скинь бахилы,
сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
дьется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.
В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где, то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
— так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, —
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влеченьем прошлой
жизни к законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый, — ария их союза,
серенада, которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй — не приближаясь! — за вереницей
литер, стоящих в очередях за смыслом.
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише
— большую площадь, чем покрывает почерк!
Да и копоть твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих субтильных

запятых, на исходе тысячелетья в Риме
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,
а не точку — и комната выглядит как в начале.
(Сочиняя, перо мало что сочинило.)
О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо
тут она безупречна. Так на льду Танаиса
пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.
Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бёдра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта Казимира,

летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

XII
Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроящих
мне пустоту, раз она — Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

1982

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (1)

Сюзанне Зонтаг

I

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гбндол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,
и рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.

II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что — от любви.

III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузё, ни арий.
Одинокий каблук выстукивает диабаз.
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем
с собственным эхом; оно обдает теплом
мраморный, гулкий, пустой аквариум
с запотевшим стеклом.
За золотой чешуей всплывших в канале окон —
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
жаброй хлопая, лещ!
От нечаянной встречи под потолком с богиней,
сбросившей все с себя, кружится голова,
и подъезды, чье нёбо воспалено ангиной
лампочки, произносят «а».

V
Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал
зеркала! В епанче белый глубокий вырез
как волновал!
Как сирокко — лагуну. Как посреди панели
здесь превращались юбки и панталоны в щи!
Где они все теперь — эти маски, полишинели,
перевертни, плащи?

VI
Так меркнут люстры в опере; так на убыль
к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
и площадь — как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.

VII
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.

Только фальцет звезды меж телеграфных линий —
там, где глубоким сном спит гражданин Перми2.
Но вода аплодирует, и набережная — как иней,
осевший на до-ре-ми.

VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,
спихивая, как за борт, буквы в конец строки,
тщится рассудок предохранить от крена
выпитому вопреки.
Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.

1982

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)

Геннадию Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо — поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы — от греха..
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину затопляет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона златой Егорий,
как в чернила, копье.

V
День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,
прилипает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.

VI
Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпили, пилястры, арки,
выраженье лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самоей Н20. Но, как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.

VII
Так выходят из вод, ошеломляя падью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.
Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

1982

В ОКРЕСТНОСТЯХ АЛЕКСАНДРИИ

Карлу Профферу
Каменный шприц впрыскивает героин
в кучевой, по-зимнему рыхлый мускул.
Шпион, ворошащий в помойке мусор,
извлекает смятый чертеж руин.

Повсюду некто на скакуне;
все копыта — на пьедестале.

Всадники, стало быть, просто дали
дуба на собственной простыне.

В сумерках люстра сродни костру,
пляшут сильфиды, мелькают гузки.
Пролежавший весь день на «пуске»
палец мусолит его сестру.
В окнах зыблется нежный тюль,
терзает голый садовый веник
шелест вечнозеленых денег,
непрекращающийся июль.
Помесь лезвия и сырой
гортани, не произнося ни звука,
речная поблескивает излука,
подернутая ледяной корой.

Жертва легких, но друг ресниц,
воздух прозрачен, зане исколот
клювами плохо сносящих холод,
видимых только в профиль птиц.

Се — лежащий плашмя колосс,
прикрытый бурою оболочкой
с отделанной кружевом оторочкой
замерших после шести колес.

Закат, выпуская из щели мышь,
вгрызается — каждый резец оскален —

в электрический сыр окраин,
в то, как строить способен лишь
способный все пережить термит;
депо, кварталы больничных коек,
чувствуя близость пустыни в коих,
прячет с помощью пирамид
горизонтальность свою земля
цвета тертого кирпича, корицы.
И поезд подкрадывается, как змея,
к единственному соску столицы.

1982
Вашингтон

КЕЛЛОМЯКИ

М. Б.

I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,
городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни —
телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».
И никаким топором не наколешь дров
отопить помещенье. Наоборот, иной

дом согреть порывался своей спиной
самую зиму и разводил цветы
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты,
как готовясь к побегу и азимут отыскав,
засыпала там в шерстяных носках.

II
Мелкие, плоские волны моря на букву «б»,
сильно схожие издали с мыслями о себе,
набегали извилинами на пустынный пляж
и смерзались в морщины. Сухой мандраж
голых прутьев боярышника вынуждал порой
сетчатку покрыться рябой корой.
А то возникали чайки из снежной мглы,
как замусоленные ничьей рукой углы
белого, как пустая бумага, дня;
и подолгу никто не зажигал огня.

III
В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и населенье в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне, за сах. песком
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.
В маленьком городе обыкновенно ешь
то же, что остальные. И отличить себя
можно было от них лишь срисовывая с рубля
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,
либо — видя вещи твои везде.

IV
Несмотря на все это, были они крепки,
эти брошенные спичечные коробки
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя
сырыми головками. И, воробья кормя,
на него там смотрели всею семьей в окно,
где деревья тоже сливались потом в одно
черное дерево, стараясь перерасти
небо — что и случалось часам к шести,
когда книга захлопывалась и когда
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

V
Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,
дар — холодея внутри, источать тепло
вовне — постояльцев сближал с жильем,
и зима простыню на веревке считала своим бельем.
Это сковывало разговоры; смех
громко скрипел, оставляя следы, как снег,
опушавший изморозью, точно хвою, края
местоимений и превращавший «я»
в кристалл, отливавший твердою бирюзой,

но таявший после твоей слезой.

VI
Было ли вправду все это? и если да, на кой
будоражить теперь этих бывших вещей покой,
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,
имитируя — часто удачно — тот свет во сне?
Воскресают, кто верует: в ангелов, в корни (лес);
а что Келломяки ведали, кроме рельс
и расписанья железных вещей, свистя
возникавших из небытия, пять минут спустя
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жесть,
мысль о любви и успевших сесть?

VII
Ничего. Негашеная известь зимних пространств,
свой корм
подбирая с пустынных пригородных платформ,
оставляла на них под тяжестью хвойных лап
настоящее в черном пальто, чей драп,
более прочный, нежели шевиот,
предохранял там от будущего и от
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.
Нет ничего постоянней, чем черный цвет;
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,
так засыпают одетыми противники перемен.

VIII
Больше уже ту дверь не отпереть ключом
с замысловатой бородкой, и не включить плечом
электричество в кухне к радости огурца.
Эта скворешня пережила скворца,
кучевые и перистые стада.
С точки зрения времени, нет «тогда»:
есть только «там». И «там», напрягая взор,
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,
шаря в шкафах, роняя на пол роман,
запуская руку к себе в карман.

IX
В середине жизни, в густом лесу,
человеку свойственно оглядываться — как беглецу
или преступнику: то хрустнет ветка, то всплеск струи.
Но прошедшее время вовсе не пума и
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив
жертву на землю, вас задушить в своих
нежных объятьях: ибо — не те бока,
и Нарциссом брезгающая река

покрывается льдом (рыба, подумав про
свое консервное серебро,

X
уплывает заранее). Ты могла бы сказать, скрепя
сердце, что просто пыталась предохранить себя
от больших превращений, как та плотва;
что всякая точка в пространстве есть точка «а»
и нормальный экспресс, игнорируя «Ь» и «с»,
выпускает, затормозив, в конце
алфавита пар из запятых ноздрей;
что вода из бассейна вытекает куда быстрей,
чем вливается в оный через одну
или несколько труб: подчиняясь дну.

XI
Можно кивнуть и признать, что простой урок
Лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,
что Финляндия спит, затаив в груди
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,
из алюминия: лучше, видать, для рук.
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,
не представить пальму, муху цеце, фокстрот,
монолог попугая — вернее, тот
вид параллелей, где голым — поскольку край
света — гулял, как дикарь, Маклай.

XII
В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,
как чужих фотографий, не держат карт —
даже игральных — как бы кладя предел
покушеньям судьбы на беззащитность тел.
Существуют обои; и населенный пункт
освобождаем ими обычно от внешних пут
столь успешно, что дым норовит назад
воротиться в трубу, не подводить фасад;
что оставляют, слившиеся в одно,
белое после себя пятно.
Необязательно помнить, как звали тебя, меня;
тебе достаточно блузки и мне — ремня,
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),
что безымянность нам в самый раз, к лицу,
как в итоге всему живому, с лица земли
стираемому беззвучным всех клеток «пли».
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,
неспособность сдвинуться с места. И наше право на
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день
клином падавшая в сугробы тень

XIV
дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
будем считать, что клин этот острый — наш
общий локоть, выдвинутый вовне,
которого ни тебе, ни мне
не укусить, ни, подавно, поцеловать.

В этом смысле, мы слились, хотя кровать
даже не скрипнула. Ибо она теперь
целый мир, где тоже есть сбоку дверь.
Но и она — точно слышала где-то звон —
годится только, чтоб выйти вон.

1982

К УРАНИИ
И. к.
У всего есть предел: в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрыла,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо — город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

[1982]
ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ
Z к.
I
Осень в твоем полушарьи кричит «курлы».
С обнищавшей державы сползает границ подпруга.
И, хотя окно не закрыто, уже углы
привыкают к сорочке, как к центру круга.
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос
на себя в никуда, и перо — улика.
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос
в пианино ушедшего Фредерика.
В полнолунье жнивье из чужой казны
серебром одаривает мочажина.
Повернешься на бок к стене, и сны
двинут оттуда, как та дружина,
через двор на зады, прорывать кольцо
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.
И затем что все на одно лицо,
согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.

II
Черепица фольварков да желтый цвет
штукатурки подворья, карнизы — бровью.
Балагола одним колесом в кювет,
либо — мерин копытом в луну коровью.
И мелькают стога, завалившись в Буг
вспять плетется ольшаник с водой в корзинах;
и в распаханных тучах свинцовый плуг
не сулит добра площадям озимых.
Твой холщовый подол, шерстяной чулок,
как ничей ребенок, когтит репейник.
На суровую нитку пространство впрок
зашивает дождем — и прощай Коперник.
Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет
тела с россыпью родинок застит платье.
Для самой себя уже силуэт,
ты упасть не способна ни в чьи объятья.

Понимаю, что можно любить сильней,
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,
оценить темноту и, смешавшись с ней,
выпасть незримо в твои пределы.
Можно, пору за порой, твои черты
воссоздать из молекул пером сугубым.
Либо, в зеркало вперясь, сказать, что ты
это — я; потому что кого ж мы любим,
как не себя? Но запишем судьбе очко:
в нашем будущем, как бы брегет ни медлил,
уже взорвалась та бомба, что
оставляет нетронутой только мебель.
Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

[1982]
Точка всегда обозримей в конце прямой.
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.
Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,
вырывается с шумом абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
и т. п., подбирается к внешним данным;
паутиной окованные углы
придают сходство комнате с чемоданом.
Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста от златоротца.
И будильник так тикает в тишине,
точно дом через десять минут взорвется.

[1982]

ЭЛЕГИЯ

М. Б.
До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связки
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами, и не бздюме утряски
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук
не изнашивается в результате тренья
о разреженный воздух, но, близорук, из двух
зол выбирает обычно ббльшее: повторенье
некогда сказанного. Трезвая голова
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,
точно пластинка, стачивая слова,
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку
из заросшей извилины — как отдавая честь
наваждению в форме нехватки текста
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть
вещи, предметы, между собой столь тесно
связанные, что, норовя прослыть
подлинно материю и т. д. и т. п., природа
могла бы сделать еще один шаг и слить
их воедино: тум-тум фокстрота
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас
в крайнем случае. То есть повысить в ранге
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас
чешуя цвета консервной банки,
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,
чем увеличивает; вспомни размер зверей
в плейстоценовой чаще. Мы — только части
крупного целого, из коего вьется нить
к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник. Но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид — зане
потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне
как выползти из воды на сушу.

1983-1984

СИДЯ В ТЕНИ

I
Ветреный летний день.
Прижавшееся к стене
дерево и его тень.
И тень интересней мне.
Тропа, получив плетей,
убегает к пруду.
Я смотрю на детей,
бегающих в саду.

II
Свирепость их резвых игр,
их безутешный плач
смутили б грядущий мир,
если бы он был зряч.
Но порок слепоты
время приобрело
в результате лапты,
в которую нам везло.

III
Остекленелый кирпич
царапает голубой
купол как паралич
нашей мечты собой
пространство одушевить;
внешность этих громад
может вас пришибить,
мозгу поставить мат.

IV
Новый пчелиный рой
эти улья займет,

производя жилой,
электрический мед.
Дети вытеснят нас
в пригородные сады
памяти — тешить глаз
формами пустоты.

V
Природа научит их
тому, что сама в нужде
зазубрила, как стих:
времени и т. д.
Они снабдят цифру «100»
завитками плюща,
если не вечность, то
постоянство ища.

VI
Ежедневная ложь
и жужжание мух
будут им невтерпеж,
но разовьют их слух.
Зуб отличит им медь
от серебра. Листва
их научит шуметь
голосом большинства.

VII
После нас — не потоп,
где довольно весла,
но наважденье толп,
множественного числа.
Пусть торжество икры
над рыбой еще не грех,
но ангелы — не комары,
и их не хватит на всех.
Ветреный летний день.
Запахи нечистот
затмевают сирень.
Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где, делая зло,
мы знали еще — кому.

IX
Ветреный летний день.
Сад. Отдаленный рев
полицейских сирен,
как грядущее слов.
Птицы клюют из урн
мусор взамен пшена.
Голова, как Сатурн,
болью окружена.

X
Чем искреннее певец,
тем все реже, увы,
давешний бубенец
вибрирует от любви.
Пробовавшая огонь,
трогавшая топор,
сильно вспотев, ладонь
не потреплет вихор.

XI
Это — не страх ножа
или новых тенет,
но того рубежа,
за каковым нас нет.

Так способен Луны
снимок насторожить:
жизнь как меру длины
не к чему приложить.

XII

Тысячелетье и век

сами идут к концу,
чтоб никто не прибег
к бомбе или к свинцу.
Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

XIII

Будущее черно,
но от людей, а не
оттого, что оно
черным кажется мне.
Как бы беря взаймы,
дети уже сейчас
видят не то, что мы;
безусловно не нас.

XIV

Взор их неуловим.
Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду
целясь по воробью,
не думает — «попаду»,
но убежден — «убью».
Всякая зоркость суть
знак сиротства вещей,
не получивших грудь.
Апофеоз прыщей
вооружен зрачком,
вписываясь в чей круг,
видимый мир — ничком
и стоймя — близорук.

XVI
Данный эффект — порок
только пространства, впрок
не запасшего клок.
Так глядит в потолок
падающий в кровать;
либо — лишенный сна —
он же, чего скрывать,
забирается на.

XVII
Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,

ария меньшинства,
петая сумме тел,
в просторечьи — толпе,
наводнившей партер
под занавес и т. п.

XVIII
Ветреный летний день.
Детская беготня.
Дерево и его тень,
упавшая на меня.
Рваные хлопья туч.
Звонкий от оплеух
пруд. И отвесный луч
— как липучка для мух.

XIX

Впитывая свой сок,
пачкая куст, тетрадь,
множась, точно песок,
в который легко играть,
дети смотрят в ту даль,
куда, точно грош в горсти,
зеркало, что Стендаль
брал с собой, не внести.

XX

Наши развив черты,
ухватки и голоса
(знак большой нищеты
природы на чудеса),
выпятив челюсть, зоб,
дети их исказят
собственной злостью — чтоб
не отступить назад.

XXI

Так двигаются вперед,
за горизонт, за грань.
Так, продолжая род,
предает себя ткань.
Так, подмешавши дробь
в ноль, в лейкоциты — грязь,
предает себя кровь,
свертыванья страшась.
В этом и есть, видать,
роль материи во
времени — передать
всё во власть ничего,

чтоб заселить верто-
град голубой мечты,
разменявши ничто
на собственные черты.

XXIII

Так в пустыне шатру
слышится тамбурин.
Так впопыхах икру
мечут в ультрамарин.
Так марают листы
запятая, словцо.
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.

июнь 1983

Первый день нечетного года. Колокола
выпускают в воздух воздушный шар
за воздушным шаром,
составляя компанию там наверху шершавым,
триста лет как раздевшимся догола
местным статуям. Я валяюсь в пустой, сырой,
желтой комнате, заливая в себя Бертани.
Эта вещь, согреваясь в моей гортани,
произносит в конце концов: «Закрой
окно». Вот и еще одна
комбинация цифр не отворила дверцу;
плюс нечетные числа тем и приятны сердцу,
что они заурядны; мало кто ставит на
них свое состоянье, свое неименье, свой
кошелек; а поставив — встают с чем сели...
Чайка в тумане кружится супротив часовой
стрелки, в отличие от карусели.

1983

Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица
обыкновенно отчетливее, устойчивее овала
с его блядовитыми свойствами колеса:
склонностью к перемене мест и т. д. и т. п. Бывало,
оно на исходе дня напоминало мне,
мертвому от погони, о пульмановском вагоне,
о безумном локомотиве, ночью на полотне
останавливавшемся у меня в ладони,
и сова кричала в лесу. Нынче я со стыдом
понимаю — вряд ли сова; но в потемках любо-
дорого было путать сову с дроздом:
птицу широкой скулы с птицей профиля, птицей клюва.
И хоть меньше сбоку видать, все равно не жаль
было правой части лица, если смотришь слева.

Да и голос тот за ночь мог расклевать печаль,
накрошившую голой рукой за порогом хлеба.

[1983]

o <> o

Раньше здесь щебетал щегол
в клетке. Скрипела дверь.
Четко вплетался мужской глагол
в шелест платья. Теперь
пыльная капля на злом гвозде —
лампочка Ильича
льется на шашки паркета, где
произошла ничья.
Знающий цену себе квадрат,
видя вещей разброд,
не оплакивает утрат;
ровно наоборот:
празднует прямоту угла,
желтую рвань газет,
мусор, будучи догола,
до обоев раздет.
Печка, в которой погас огонь;
трещина по изразцу.
Если быть точным, пространству вонь
небытия к лицу.
Сука здесь не возьмет следа.
Только дверной проем
знает: двое, войдя сюда,
вышли назад втроем.

[1983]

? ? ?

Ты — ветер, дружок. Я
лес. Я трясу листвой,
изъеденною весьма
гусеницею письма.
Чем яростнее Борей,
тем листья эти белей.
И божество зимы
просит у них взаймы.

[1983]
В ГОРАХ

1
Голубой саксонский лес.
Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,

точно извести раствор.
Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты — никто, и я — никто.
Вместе мы — почти пейзаж.
2
Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
может кровли городка.
Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка ихних круч.
3
На ночь снятое плато.
Трепыханье фитиля.
Ты — никто, и я — никто:
дыма мертвая петля.
В туче прячась, бродит Бог,
ноготь месяца грызя.
Как пейзажу с места вбок,
нам с ума сойти нельзя.
4
Голубой саксонский лес.
К взгляду в зеркало и вдаль
потерявший интерес
глаза серого хрусталь.
Горный воздух, чье стекло
вздох неведомо о чем
разбивает, как ракло,
углекислым кирпичом.
5
Мы с тобой — никто, ничто.
Эти горы — наших фраз
эхо, выросшее в сто,
двести, триста тысяч раз.
Снизив речь до хрипоты,
уподобить не впервой
наши ребра и хребты
ихней ломаной кривой.
6
Чем объятие плотней,
тем пространства сзади — гор,
склонов, складок, простыней —
больше, времени в укор.
Но и маятника шаг
вне пространства завести
тоже в силах, как большак,
дальше мяса на кости.
7
Голубой саксонский лес.

Мир зазубрен, ощутив,
что материи в обрез.
Это — местный лейтмотив.
Дальше — только кислород:
в тело вхожая кутья
через ноздри, через рот.
Вкус и цвет — небытия.
Чем мы дышим — то мы есть,
что мы топчем — в том нам гнить.
Данный вид суть, в нашу честь,
их отказ соединить.
Это — край земли. Конец
геологии; предел.
Место точно под венец
в воздух вытолкнутых тел.

9
В этом смысле мы — чета,
в вышних слаженный союз.
Ниже — явно ни черта.
Я взглянуть туда боюсь.
Крепче в локоть мне вцепись,
побеждая страстью власть
тяготенья — шанса, ввысь
заглядевшись, вниз упасть.

10
Голубой саксонский лес.
Мир, следящий зорче птиц
— Гулливер и Геркулес —
за ужимками частиц.
Сумма двух распадов, мы
можем дать взамен числа
абажур без бахромы,
стук по комнате мосла.

11
«Тук-тук-тук» стучит нога
на ходу в сосновый пол.
Горы прячут, как снега,
в цвете собственный глагол.
Чем хорош отвесный склон,
что, раздевшись догола,
все же — неодушевлен;
то же самое — скала.

12
В этом мире страшных форм
наше дело — сторона.
Мы для них — подножный корм,
многоточье, два зерна.
Чья невзрачность, в свой черед,

лучше мышцы и костей
нас удерживает от
двух взаимных пропастей.

13
Голубой саксонский лес.
Близость зрения к лицу.
Гладь щеки — противовес
клеток ихнему концу.
Взгляд, прикованный к чертам,
освещенным и в тени, —
продолженье клеток там,
где кончаются они.

14
Не любви, но смысла скул,
дуг надбровных, звука «ах»
добиваются — сквозь гул
крови собственной — в горах.
Против них, что я, что ты,
оба будучи черны,
ихним снегом на черты
наших лиц обречены.

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.
Чем отчетливей в упор
профиль, пористость, анфас,
тем естественней отбор
напрочь времени у нас.

16
Голубой саксонский лес.
Грез базальтовых родня.
Мир без будущего, без
— проще — завтрашнего дня.
Мы с тобой никто, ничто.
Сумма лиц, мое с твоим,
очерк чей и через сто
тысяч лет неповторим.

17
Нас других не будет! Ночь,
струйка дыма над трубой.
Утром нам отсюда прочь,
вниз, с закушенной губой.
Сумма двух распадов, с двух
жизней сдача — я и ты.
Миллиарды снежных мух
не спасут от нищеты.

18
Нам цена — базарный грош!
Козырная двойка треф!
Я умру, и ты умрешь.
В нас течет одна пся крев.
Кто на этот грош, как тать,
точит зуб из-за угла?
Сон, разжав нас, может дать
только решку и орла.

19
Голубой саксонский лес.
Наста лунного наждак.
Неподвижности прогресс,
то есть — ходиков тик-так.
Снятой комнаты квадрат.
Покрывало из холста.
Геометрия утрат,
как безумие, проста.

20
То не ангел пролетел,
прошептавши: «виноват».
То не бдение двух тел.
То две лампы в тыщу ватт
ночью, мира на краю,
раскаляясь добела —
жизнь моя на жизнь твою
насмотреться не могла.

21
Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
об мне и о себе.
Вычесть временное из
постоянного нельзя,
как обвалом верх и низ
перепутать не грозя.

? ? ?

Теперь, зная многое о моей
жизни — о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых
я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, —
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
«Судьба к нему оказалась щедрой»,
и присутствующие за столом

кивнут задумчиво в знак согласья.
Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также
и дальнозоркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстояньи
больше зябнущей пятерни,
растопыренной между орлом и решкой?
Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще чем что-либо напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.
Как знать, может как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколенье, пялясь
в серо-буро-малиновое пятно
нелегального полушарья.
Короче — худшего не произошло.
Худшее происходит только
в романах и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,
как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.
Мы уже не увидимся — потому
что физически сильно переменились.
Встреться мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость;
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.
Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнаёт об итоге своих трудов
по расплывчатости воспоминаний,
то — думаю — и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или — на дне кармана —
еще не потраченную копейку.

1984

БЮСТ ТИБЕРИЯ

Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.
Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины
твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди жертвы следствий.
Особенно в тех подземельях, где
все признаются, — даром что признанья
под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба —
быть непричастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.
Тем паче цезарей. По крайней мере
ты выглядишь способным захлебнуться
скорее в собственной купальне, чем
великой мыслью. Вообще — не есть ли
жестокость только ускоренье общей
судьбы вещей? свободного паденья
простого тела в вакууме? В нем
всегда оказываешься в момент паденья.
Январь. Нагроможденье облаков
над зимним городом, как лишний мрамор.
Бегущий от действительности Тибр.

Фонтаны, бьющие туда, откуда
никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни
прищурившись. Другое время!
И за уши не удержать уже
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ —
отнюдь не жертв — природа создает
по своему подобию. Гораздо
отраднее — уж если выбирать —
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем неврастеником. В неполных тридцать,
с лицом из камня — каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетья,
ты выглядишь естественной машиной
уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи
и прочая. И защищать тебя
от вымысла — как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.
В безлюдной галерее. В тусклый полдень.
Окно, замызганное зимним светом.
Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст...

Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.
Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно —
и не впоследствии, но уже сейчас.
Не есть ли это тоже ускоренье
истории? успешная, увы,
попытка следствия опередить причину?
Плюс тоже — в полном вакууме, что
не гарантирует большого всплеска.
Раскаяться? Переверстать судьбу?
Зайти с другой, как говорится, карты?
Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бессчетных
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас
на нечто твердое, и он, должно быть,
слегка опешит и прервет буренье.
«Бюст, — скажет он на языке развалин
и сокращающихся мышц, — бюст, бюст».

1984-1985

1985

? ? ?

Е. Р.
Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке
отражения город. Позвякивают куранты.
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.
Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа. Снежное толковище
за окном разражается искренним «ай-люли»:
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,
завтра — четверг. Данную годовщину
нам, боюсь, отмечать не добавляя льда,
избавляя следующую морщину
от ённой щеки; в просторечии — вместе с Ним.
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда — селянина,
через стенку пройдя, слух бередит одним
пальцем разбуженное пианино.
Будто кто-то там учится азбуке по складам.
Или нет — астрономии, вглядываясь в начертанья
личных имен там, где нас нету: там,
где сумма зависит от вычитанья.

декабрь 1985
В ИТАЛИИ

Роберто и Флер Калассо
И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.
Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любили меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принюхиваются к объедкам,
и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней
сильно сверкает, зрачок слезя.
Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного теченья, прячется в перспективу.

1985
МУХА

Альфреду и Ирене Брендель

Пока ты пела, осень наступила.
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади
замызганной плиты, не глядя
туда, откуда ты взялась в апреле.
Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит
убить тебя. Но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха.

II

Пока ты пела и летала, листья
попадали. И легче литься
воде на землю, чтоб назад из лужи
воззриться вчуже.

А ты, видать, совсем ослепла. Можно
представить цвет крупинки мозга,
померкший от твоей, брусчатке
сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,
устраивает дух лежалый
жилья, зеленых штор понурость.
Жизнь затянулась.

Ill

Ах, цокотуха, потерявши юркость,
ты выглядишь, как старый юнкере,
как черный кадр документальный
эпохи дальней.
Не ты ли за полночь там то и дело
над люлькою моей гудела,
гонимая в оконной раме
прожекторами?
А нынче, милая, мой желтый ноготь
брюшко твое горазд потрогать,
и ты не вздрагиваешь от испуга,
жужжа, подруга.

IV

Пока ты пела, за окошком серость
усилилась. И дверь расселась
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.

Мой дом в упадке.
Но не пленить тебя ни пирамидой
фаянсовой давно не мытой
посуды в раковине, ни палаткой
сахары сладкой.
Тебе не до того. Тебе не
до мельхиоровой их дребедени;
с ней связываться — себе дороже.
Мне, впрочем, тоже.

V
Как старомодны твои крылья, лапки!
В них чудится вуаль прабабки,
смешавшаяся с позавчерашней
французской башней —
век номер девятнадцать, словом.
Но, сравнивая с тем и овом
тебя, я обращаю в прибыль
твою погибель,
подталкивая ручкой подлой
тебя к бесплотной мысли, к полной
неосязаемости раньше срока.
Прости: жестоко.

VI
О чем ты грезишь? О своих избитых,
но не рассчитанных никем орбитах?
О букве шестирукой, ради
тебя в тетради
расхристанной на месте плоском
кириллицыным отголоском
единственным, чей цвет, бывало,
ты узнавала
и вспархивала. А теперь, слепая,
не реагируешь ты, уступая
плацдарм живым брюнеткам, женским
ужимкам, жестам.

VII
Пока ты пела и летала, птицы
отсюда отбыли. В ручьях плотицы
убавилось, и в рощах пусто.
Хрустит капуста
в полях от холода, хотя одета
по-зимнему. И бомбой где-то
будильник тикает, лицом неточен,
и взрыв просрочен.
А больше — ничего не слышно.
Дома отбрасывают свет покрышно
обратно в облако. Трава пожухла.
Немного жутко.
И только двое нас теперь — заразы

разносчиков. Микробы, фразы
равно способны поражать живое.
Нас только двое:
твое страшащееся смерти тельце,
мои, играющие в земледельца
с образованием, примерно восемь
пудов. Плюс осень.
Совсем испортилась твоя жужжалка!
Но времени себя не жалко
на нас растрачивать. Скажи спасибо,
что — неспесиво,

IX
что совершенно небрезгливо, либо —
не чувствует, какая липа
ему подсовывается в виде вялых
больших и малых
пархатостей. Ты отлеталась.
Для времени, однако, старость
и молодость неразличимы.
Ему причины
и следствия чужды де-юре,
а данные в миниатюре
— тем более. Как пальцам в спешке
— орлы и решки.

X
Оно, пока ты там себе мелькала
под лампочкою вполнакала,
спасаясь от меня в стропила,
таким же было,
как и сейчас, когда с бесцветной пылью
ты сблизилась, благодаря бессилью
и отношению ко мне. Не думай
с тоской угрюмой,
что мне оно — большой союзник.
Глянь, милая: я — твой соузник,
подельник, закадычный кореш;
срок не ускоришь.

XI

Снаружи осень. Злополучье голых
ветвей кизиловых. Как при монголах:
брак серой низкорослой расы
и желтой массы.
Верней — сношения. И никому нет дела
до нас с тобой. Мной овладело
оцепенение — сиречь твой вирус.
Ты б удивилась,
узнав, как сильно заражает сонность
и безразличие, рождая склонность

расплачиваться с планетой
ее монетой.

XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!
Существовать неинтересно с пользой.
Тем паче для себя: казенной.
Честней без оной
смущать календари и числа
присутствием, лишенным смысла,
доказывая посторонним,
что жизнь — синоним
небытия и нарушенья правил.
Будь помоложе ты, я б взор направил
туда, где этого в избытке. Ты же
стара и ближе.

XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,
нас заштриховывая без нажима.
Ты недвижима.
Нас двое, стало быть. По крайней мере,
когда ты кончишься, я факт потери
отмечу мысленно — что будет эхом
твоих с успехом
когда-то выполненных мертвых петель.
Смерть, знаешь, если есть свидетель,
отчетливее ставит точку,
чем в одиночку.

XIV

Надеюсь все же, что тебе не больно.
Боль места требует и лишь окольно
к тебе могла бы подобраться, с тыла
накрыть. Что было
бы, видимо, моей рукою.
Но пальцы заняты пером, строкою,
чернильницей. Не умирай, покуда
не слишком худо,
покамест дергаешься. Ах, гумозка!
Плевать на состоянье мозга:
вещь, вышедшая из повиновенья,
как то мгновенье,
по-своему прекрасна. То есть
заслуживает, удостоясь
овации наоборот, продлиться.
Страх суть таблица
зависимостей между личной

беспомощностью тел и лишней
секундой. Выражаясь сухо,
я, цокотуха,
пожертвовать своей согласен.
Но вроде этот жест напрасен:
сдает твоя шестерка, Шива.
Тебе паршиво.

XVI
В провалах памяти, в ее подвалах,
среди ее сокровищ — палых,
растаявших и проч. (вообще их
ни при кощеях
не пересчитывали, ни, тем паче,
позднее), среди этой сдачи
с существования, приют нежесткий
твоею тезкой
неполною, по кличке Муза,
уже готовится. Отсюда, муха,
длинноты эти, эта как бы свита
букв, алфавита.

XVII
Снаружи пасмурно. Мой орган тренья
о вещи в комнате, по кличке зренье,
сосредоточивается на обоях.
Увы, с собой их
узор насиженный ты взять не в силах,
чтоб ошарашить серафимов хилых
там, в эмпиреях, где царит молитва,
идеей ритма
и повторимости, с их колокольни —
бессмысленной, берущей корни
в отчаяньи, им — насекомым
туч — незнакомым.

XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?
Той пасекой, верней — сараем,
где над малиновым вареньем сонным
кружатся сонмом
твои предшественницы, издавая
звук поздней осени, как мостовая
в провинции. Но дверь откроем —
и бледным роем
они рванутся мимо нас обратно
в действительность, ее опрятно
укутывая в плотный саван
зимы — тем самым

XIX

подчеркивая — благодаря мельканью, —
что души обладают тканью,
материей, судьбой в пейзаже;
что, цвета сажи,
вещь в колере — чем бить баклуши —
меняется. Что, в сумме, души
любое превосходят племя.
Что цвет есть время

или стремление за ним угнаться,
великого Галикарнасца
цитируя то в фас, то в профиль
холмов и кровель.

XX
Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
И ты по-свойски
спланируешь на мой затылок,
соскучившись вдали опилок,
чьим шорохом весь мир морочим?
Едва ли. Впрочем,
дав дуба позже всех — столетней! —
ты, милая, меж них последней
окажешься. И если примут,
то местный климат

XXI
с его капризами в расчет принявши,
спешащую сквозь воздух в наши
пределы я тебя увижу
весной, чью жижу
топча, подумаю: звезда сорвалась,
и, преодолевая вялость,
рукою вслед махну. Однако
не Зодиака
то будет жертвой, но твоей душою,
летящею совпасть с чужою
личинкой, чтоб явить навозу
метаморфозу.

НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВЕЙЛИНКА

Аде Струве
I
Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;

гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II
Возможно, это — будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это — город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках — фасад
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

III
Возможно также — прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к «л».
Улегшаяся буря крепдешина.
И это — царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.

IV
Бесспорно — перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V
Возможно — натюрморт. Издалека
все, в рамку заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птолемея.

VI
Возможно — зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пылкой наковальни,
настойчивое соло комара

кончается овациями спальни.

VII
Возможно — декорация. Дают
«Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием». Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,
и «до» звучит как временное «от».
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.
25? 1
Бесспорно, что — портрет, но без прикрас:
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тем более — поставленного к стенке.
Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чуя брошенный извне
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

IX
Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия — как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

19843

1Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый.
Вергилий. Эклога IV. (Перев. С. Шервинского)
2С. Дягилев.
3Имеется экземпляр книги «Урания», где автором
указана дата этого стихотворения «1985».

СОДЕРЖАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ 1972
24 декабря 1971 года («В Рождество все немного волхвы...») 7
Одному тирану («Он здесь бывал: еще не в галифе...»)..... 9
Письма римскому другу (Из Марциала) («Нынче ветрено и волны
с перехлестом...»)..... 10
Сретенье («Когда она в церковь впервые внесла...»)..... 13
1972 год («Птица уже не влетает в форточку...») 16
Бабочка («Сказать, что ты мертва...») 20
В озерном краю («В те времена в стране зубных врачей...») 25
Набросок («Холуй трясется. Раб хохочет...») 26
Одиссей Телемаку («Мой Телемак, Троянская война...»)..... 27

«Осенний вечер в скромном городке...» 28
Песня невинности, она же — опыта («Мы хотим играть
на лугу в пятнашки...»)..... 30
Похороны Бобо («Бобо мертва, но шапки недолой...»)..... 34
Торс («Если вдруг забредаешь в каменную траву...») 36
Неоконченный отрывок («Во время ужина он встал из-за стола...»)..... 37
Открытка с тостом («Желание горькое — впрямь...») 38
«С красавицей налаживая связь...» 40
1973
Роттердамский дневник («Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда...») 43
Лагуна («Три старухи с вязаньем в глубоких креслах...») 44
Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова («Взбаламутивший море...») 48
На смерть друга («Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд...»)..... 58
1974
Война в убежище Киприды («Смерть поступает в виде пули из...») 61
«Барбизон террас» («Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне...») .... 62 Двадцать сонетов к Марии Стюарт («Мари, шотландцы
все-таки скоты...»)..... 63
Над восточной рекой («Боясь расплескать, проношу головную боль...») ... 72
На смерть Жукова («Вижу колонны замерших внуков...»)..... 73
«Песчаные холмы, поросшие сосной...» 74
Темза в Челси («Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак...») 76
1975
Колыбельная Трескового мыса («Восточный конец Империи
погружается в ночь. Цикады...») 81
Мексиканский дивертисмент
Гуернавака («В саду, где М., французский протеже...») 92
1867 («В ночном саду под гроздью зреющего манго...»)..... 94
Мерида («Коричневый город. Веер...») 94
В отеле «Континенталь» («Победа Мондриана. За стеклом...»)..... 96
Мексиканский романсеро («Кактус, пальма, агава...»)..... 96
К Евгению («Я был в Мексике, взбирался на пирамиды...»)..... 100
Заметка для энциклопедии («Прекрасная и нищая страна...») 101
Осенний крик ястреба («Северо-западный ветер
его поднимает над...»)..... 103
Шорох акации («Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска...»)..... 107
1976
Декабрь во Флоренции («Двери вдыхают воздух и
выдыхают пар; но...») 111
«Классический балет есть замок красоты...»..... 114
Новый Жюль Берн («Безупречная линия горизонта,
без какого-либо изъяна...»)..... 115
Развивая Платона («Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе,
где река...») 122
Часть речи
«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...» 125
«Север крошит металл, но щадит стекло...»..... 126
«Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» 127
«Это — ряд наблюдений. В углу — тепло...»..... 128
«Потому что каблук оставляет следы — зима...» 129
«Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с...»..... 130
«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...»..... 131

«Что касается звезд, то они всегда...» 132
«В городке, из которого смерть расползалась
по школьной карте...» 133
«Около океана, при свете свечи; вокруг...» 134
«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» 135
«Тихотворение мое, мое немое...»..... 136
«Темно-синее утро в заиндевевшей раме...» 137
«С точки зрения воздуха, край земли...»..... 138
«Заморозки на почве и облысенье леса...» 139
«Всегда остается возможность выйти из дому на...» 140
«Итак, пригревает. В памяти, как на меже...» 141
«Если что-нибудь петь, то перемену ветра...» 142
«...и при слове „грядущее" из русского языка...»..... 143
«Я не то что схожу с ума, но устал за лето...» 144
1977
Пятая годовщина (4 июня 1977) («Падучая звезда,
тем паче — астероид...») 147
Квинтет («Веко подергивается. Изо рта...») 151
Письма династии Минь («Скоро тринадцать лет, как соловей
из клетки...») 154
Сан-Пьетро («Третью неделю туман не слезает с белой...») 156
В Англии
I. Брайтон-рок («Ты возвращаешься, сизый цвет
ранних сумерек. Меловые...») 160
II. Северный Кенсингтон («Шорох „Ирландского Времени",
гонимого ветром по...») 160
III. Сохо («В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой...») ... 161
IV. Ист Финчли («Вечер. Громоздкое тело
тихо движется в узкой...») 162
V. Три рыцаря («В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу...») 163
VI. Йорк («Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою...»)..... 164
VII. «Английские каменные деревни...» 165
1978
Полярный исследователь («Все собаки съедены. В дневнике...») 169
«Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...» 170
«Восславим приход весны! Ополоснем лицо...»..... 171
«Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане...» 172
Полдень в комнате («Полдень в комнате. Тот покой...») 173
«Помнишь свалку вещей на железном стуле...»..... 180
Строфы («Наподобье стакана...») 181
Шведская музыка («Когда снег заметает море и скрип сосны...») 188
1980
«Я «ходил вместо дикого зверя в клетку...»..... 191
«Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...» 192
Стихи о зимней кампании 1980 года («Скорость пули
при низкой температуре...»)..... 193
«То не Муза воды набирает в рот...» 196
Эклога 4-я (зимняя) («Зимой смеркается сразу после обеда...»)..... 197
«Восходящее желтое солнце следит косыми...» 203
«Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...»..... 204
1981
Пьяцца Маттёи («Я пил из этого фонтана...»)..... 207

Горение («Зимний вечер. Дрова...») 213
Прилив («В северной части мира я отыскал приют...»)..... 216
Эклога 5-я (летняя) («Вновь я слышу тебя, комариная песня лета...») 219
«Я был только тем, чего...»..... 226
Римские элегии («Пленное красное дерево частной
квартиры в Риме...»)..... 227
1982
Венецианские строфы (1) («Мокрая кбновязь пристани.
Понурая ездовая...») 235
Венецианские строфы (2) («Смятое за ночь облако расправляет
мучнистый парус...»)..... 238
В окрестностях Александрии («Каменный шприц
впрыскивает героин...») 241
Келломяки («Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны...»)..... 243
К Урании («У всего есть предел: в том числе у печали...») 248
Полонез: вариация («Осень в твоем полушарьи кричит „курлы"...») 249
«Точка всегда обозримей в конце прямой...» 251
Элегия («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу...»)..... 252
1983-1984
Сидя в тени («Ветреный летний день...»)..... 255
1983 («Первый день нечетного года. Колокола...») 262
«Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица...» 263
«Раньше здесь щебетал щегол...»..... 264
«Ты — ветер, дружок. Я — твой...»..... 265
В горах («Голубой саксонский лес...»)..... 266
«Теперь, зная многое о моей...»..... 272
Бюст Тиберия («Приветствую тебя две тыщи лет...») 274
1985
«Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...»..... 279
В Италии («И я когда-то жил в городе, где на домах росли...») 280
Муха («Пока ты пела, осень наступила...»)..... 281
На выставке Карла Вейлинка («Почти пейзаж. Количество фигур...»)..... 290
1986
«В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...»..... 295
Представление («Председатель Совнаркома, Наркомпроса,
Мининдела...») 296
Примечание к прогнозам погоды («Аллея со статуями
из затвердевшей грязи...») 302
Реки («Растительность в моем окне! зеленый колер...») 304
«Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» 305
Элегия («Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы...») 306

Бродский И.
Б 88 Сочинения Иосифа Бродского. Том III. — СПб.: Пушкинский фонд, 2001. — 312 с.
ISBN 5-89803-068-9 (т. III) ISBN 5-89003-065-4
В третий том вошли стихи 1972—1986 гг. После смерти поэта право на издание предоставлено «Фондом Наследственного Имущества Иосифа Бродского».
УДК882Б2 ББК 84.Р7
СОЧИНЕНИЯ Иосифа Бродского
Том III

Технический редактор Л. Б. Куприянова Корректор Я. В. Кузнецова Компьютерная верстка К А. Крюков Менеджер издания Э. М. Рыбакова

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 071541 от 25 ноября 1997 г.

Подписано в печать 25.11.2000. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 22,5. Уч.-изд. л. 18,0. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2327.

Издательство «Пушкинский фонд». 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный двор»

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.